

Августа Даманская
НА ЭКРАНЕ
МОЕЙ ПАМЯТИ



София Таубе-Аничкова
ВЕЧЕРА ПОЭТОВ
В ГОДЫ БЕДСТВИЙ

Публикация
О. Р. Демидовой



ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "МІРЪ"

Санкт-Петербург
2006

УДК 822-94=025
ББК 83.3(2Рос=Рус)6
Д 16

*Издано при финансовой поддержке Федерального агентства
по печати и массовым коммуникациям в рамках
Федеральной целевой программы «Культура России»*

Д16 Даманская А. Ф. На экране моей памяти; Таубе-Аничкова С. И. Вечера поэтов в годы бедствий (Из моих литературных, редакторских и иных воспоминаний) / Публ., подготовка текстов, вступ. ст., коммент. О. Р. Демидовой. — СПб.: Издательский дом «Мирь», 2006. — 520 с.

В книге публикуются мемуарные тексты двух представительниц литературы русской эмиграции первой волны. Относительно небольшой по объему мемуар С. Таубе посвящен первым революционным годам в Петрограде; созданные во второй половине 1950-х гг. воспоминания А. Даманской, писательницы, активной участницы литературно-общественной жизни русского зарубежья, по своей хронологии и широте охвата событий сопоставимы с лучшими образцами эмигрантской мемуаристики. Основная установка автора — воссоздать историю своего поколения, частью которого («одной из многих сотен русских») она себя осознавала — позволяет не только рассказать о событиях, очевидцем и участницей которых она была, но и дать характеристики литературного быта, а также жизни различных слоев русской эмиграции первой волны.

Полностью тексты воспроизводятся впервые по авторизованной машинописи, хранящейся в Архиве русской и восточно-европейской истории и культуры (Бахметевский архив) Колумбийского университета г. Нью-Йорка.

Издание адресовано широкому кругу читателей.

ISBN 5-98846-002-X



© Демидова О. Р., составление, вступительная статья, комментарии, 2006
© Издательский дом «Мирь», 2006



Литературный Петербург — 1917—1920 гг.

Это были тяжелые годы... Для большинства, жившего литературным трудом, и для многих, уже давно избавленных от недостатков, от забот о завтрашнем дне, обрушились они полной неожиданностью. Многие растерялись, безнадежно махнув рукой и не делая усилий облегчить так или иначе свое положение. И были случаи, и было таких случаев много, когда не искавшие никогда утехи в вине — спивались, были случаи, когда редко чем болевшие люди заболели никем не предполагавшимися в них болезнями. Лирический элемент всяких воспоминаний смягчает многие черты тогдашнего литературного быта. Но и в поэтическом преломлении лучей прошлого кажется порою вымыслом та действительность, которой мы были очевидцами, и то литературное «действие», в котором мы участвовали. Уже в первые месяцы 1918 года стали закрываться периодические издания, которые еще в осенние месяцы 1917 года терпела советская власть. Одновременно по всей столице реквизировались «буржуазные квартиры». Определение «буржуазных квартир» было предоставлено районным комитетам. Более или менее наблюдательных людей поражаало тогда обилие новых людей — по повадке, по жестикологии, поговору не столичного, а явно провинциального облика. И действительно, нахлынуло тогда много новых людей из далеких от Петербурга городов и городков, которым «буржуазными» казались уже те, по понятиям сто-



личным, скромные квартиры, но каких эти новые люди не знавали в своих медвежьих углах.

Литераторы, газетные люди и известные писатели, жившие кто шире, кто скромнее, в квартирах побольше, поменьше и не сознававшие, что жили в «буржуазных» квартирах, из этих своих насиженных помещений выселялись или же к ним вселяли чужих им, малопривычных и малокультурных людей... Умудрявшимся же, благодаря каким-то связям, оставлять свои давние квартиры, нечем было их отапливать — уже с первых месяцев 1918 года привоз топлива в Петербург был плачевный. Так же, как и привоз продовольствия.

Всех объединил, всё заслонил вставший перед всеми зверино-простой жуткий вопрос: как прокормиться? Как уберечь себя от холода? Ф. К. Сологуба из светлой, располагавшей к работе квартиры перевели в маленькую, сырую, где лишь в одной комнате удавалось ему доводить температуру до шести-семи градусов. В таких же условиях жили Ремизовы, А. Вольнский, Кузмин, Шишковы, Замятин и др. Приезжавшие из Москвы рассказывали, что там писателям живется не лучше.

И вдруг — в том же 1918 году — разнесся слух, которому многие из нас долго не решались верить... Возникает будто бы новое издательство, объединяющее представителей всех видов литературы. Издательство, в котором каждый мало-мальски способный литературный труженик найдет применение своему умению и верный заработок.

Слухи, которые катились по всему Петербургу, разрастаясь, как снежные шары, обрастая фантастическими надеждами, скоро стали действительностью. Издательство «Всемирная литература», возникшее по идее и благодаря усилиям Горького, пусть и не отвечало упованиям, какие на него возлагались, но оно действительно объединило всех писателей, поэтов, беллетристов, художественных критиков, драматургов, переводчиков и на многие месяцы отвратило от них призрак голодной смерти.



Писатели с именами не обрели возможности писать, печатать, издавать свои книги, что делали многие годы, но они стали выполнять главную задачу издательства — переводить иностранных авторов. Уже много позднее, впрочем, то же издательство стало переиздавать — с тщательным отбором — и книги некоторых писателей русских. Все стали переводить, редактировать переводы, писать к ним предисловия и примечания.

Велась работа автономно, хотя и на средства, отпущенные Наркомпросом и под руководством редакционной коллегии, в состав которой входили профессор Ф. А. Бранд, М. Горький, А. Блок, Н. Гумилев, Е. Замятин, А. Волынский, К. Чуковский и Н. Лернер. Эта коллегия отбирала лучшие произведения всех литератур всего мира — и распределяла их для перевода, возлагая этот труд на лучших переводчиков. Переводила не только «славная стая» русских переводчиц — Э. Венгерова, Э. Журавская-Португалова, М. Благовещенская, К. Жихарева, Э. Пименова, А. Даманская, Анна Ганзен. Переводили и поэты: Балтрушайтис, Вяч. Иванов, Бальмонт, Н. Гумилев, еще совсем юный Адамович, пленивший редакционную коллегию своими переводами поэм Байрона.

Тщательно проредактированные переводы снабжались обстоятельными примечаниями, предисловиями таких знатоков западноевропейских литератур, как проф. Батюшков, проф. И. М. Гревс, проф. Браун, А. Горнфельд, проф. Холодковский, Кони и других, равных им по эрудиции. Постепенно образовывались и подколлегии — члены главной коллегии не успевали прочитывать и разбирать поступающий материал, — в обязанности которых входил предварительный просмотр переводов с английского, французского, итальянского, немецкого, польского, португальского и всех других языков всего мира...

Все сотрудники получали, помимо гонорара, полистной оплаты — не помню, в какой цифре она выражалась, — продовольственный паек: постное масло, крупу, малую то-



лику муки, что особенно ценилось, немного сахара — неизменно грязноватого, две-три селедки и овощи — картофель, морковь, свеклу и репу... Мужчины получали табак, а дамы — иногда — маленький-маленький кусок мыла.

Помню серенький ранней осени день. Издательство помещалось временно — очень недолго — в помещении издательства Э. И. Гржебина на Невском проспекте в доме номер 64. В комнате, заваленной книгами в переплетах, без переплетов, кипами старых журналов, стояли посреди не Е. Замятин, Венгеров, автор этих строк и рассуждали о том, как перевести на русский язык редко встречаемое, но встретившееся в одной английской книге слово. Подбирали слова — одно, другое, никого не удовлетворяло. Да и смысл этого редкого английского слова не поддавался точному адекватному русскому переводу. Из далекого угла комнаты вдруг отделилась скромного облика женская фигура и подошла к нам. Мы услышали приятный и несколько удививший нас своей самоуверенностью голос: «Простите, что вмешиваюсь в ваш разговор... Но я долго жила в Англии, и это слово мне знакомо. Это слово школьного обихода... Это значит — прижать промокаемую бумагу кнопкой к краю парты».

Мы поблагодарили ее, осведомились:

— А вы здесь?..

— Я желала бы получить какую-нибудь переводную работу. Владею, кажется, хорошо английским и французским языками...

Э. Венгеров и Е. Замятин, уже руководившие так называемой подколлекцией по приему переводов с английского, обрадовались ее предложению.

— Ваша фамилия?

— Бенкендорф... (она не прибавила «баронесса» — титулы уже не были в моде).

Это была Мария Игнатьевна Бенкендорф, а позднее — баронесса Будберг, сыгравшая заметную роль в жизни издательства и еще большую роль в жизни Горького.



Недели две спустя кто-то из нас, переводчиков, полюбопытствовал: «Что же, Бенкендорф — хорошая переводчица?» — И ответ последовал: «Ей не понравилась книга, которую она взяла для перевода... Взяла другую — увидим...»

Прошли еще две-три недели. Издательство из чужого гржебинского помещения перешло в свое собственное, в великолепный особняк генеральши Хариной на Моховой за номером 36. Тут было много простора, света, несколько редакторских кабинетов, две или три приемные, большой зал — под бухгалтерию и где в трех или четырех комнатах, среди голубых диванчиков, столиков на золоченых ножках, трюмо с фарфоровыми гирляндами, среди шелковых портьер и полуистертых ковров жила со своим мужем графиня Гендрикова — двоюродная сестра императора Николая II. Муж ее — черноусый, хмурый молчаливый грек — выполнял какую-то работу в бухгалтерии издательства. Она же, графиня, пекла пирожки, продавала их сотрудникам издательства и с увлечением рассказывала, как ее за вольнодумство дважды высылали при царском режиме из Петербурга. Многим петербуржцам известно было, что ее высылали при царском режиме не за вольнодумство, а за легкомысленное поведение... Но слушать ее было забавно. Она была мила и простодушно вралась...

В одно утро, придя в редакцию после трехнедельного по болезни отсутствия, я к удивлению своему увидела за заваленным рукописями столом в одной из редакционных комнат Марию Игнатьевну Бенкендорф.

— Вы что же, в редакции переводите?

— Нет, я не перевожу... Я работаю в исторической секции... Читаю драматические произведения, поступающие в «нашу редакцию»...

Кто-то из переводчиц обиделся и обратился с вопросом к К. Чуковскому:

— Корней Иванович, что же это, право... Мы тут, свои люди, давние переводчицы, и такой чести не удостои-



лись... А совсем новый человек и ничем еще себя не зарекомендовавший, и вдруг такую ответственную задачу на него возлагают...

Чуковский глумливо-насмешливо развел руками:

— А об этом спросите Алексея Максимовича...

Никто спрашивать Алексея Максимовича, конечно, не стал. Положение Марии Игнатьевны скоро утвердилось в издательстве. Она отвергала приносимые исторические пьесы, в которых было мало «революционного элемента», одобряла пьесы, в которых революционный элемент был подан аппетитно.

Урожденная Закревская, дочь сенатора Закревского, еще при Александре III подвергшегося административной высылке из России за какое-то оппозиционное выступление против какого-то правительственного мероприятия, она выросла в Англии и, умная, напористая, сумела, лишь захотела, покорить Горького своей барственной властью. Как-то незаметно — и не то что осторожно, а скорее руководимая непогрешимым инстинктом завоевательницы, победительницы, — сумела она поставить себя в издательстве так, что с ней больше считались, чем с администрацией, чем с самим Горьким.

Мальчишки-рассыльные стали дерзить сотрудникам в ответ на их просьбы принести или отнести в типографию корректуры.

— Некогда, Марья Игнатьевна велела...

— Не до ваших корректур — надо отнести паек Марье Игнатьевне...

Мария Игнатьевна, отеснив от Горького женщину, с которой он был близок несколько лет — уже после разрыва с Марией Федоровной Андреевой, красавицей, артисткой Московского Художественного театра, — завладела его временем, меняла его планы, отменяла назначенные им кому-то другому часы встреч и приемов...

— Завтра я увожу его в Царское Село (оно еще не называлось ни Детским, ни Пушкинским) и запиру его под семью замками...

И услышавшие это поняли: Мария Игнатьевна из-под своего влияния Горького уже не выпустит.

В 1919 году, овдовев — Бенкендорф, с кем она давно разошлась, скончался где-то в Эстонии, — она без усилия, конечно, получила пропуск из Петербурга в Ревель или в Ригу — не помню точно — из-за каких-то наследственных соображений и с тем, чтобы спасти поместья своих двоих детей (им грозил секвестр), вышла фиктивно за какого-то барона Будберга и уже как баронесса Будберг уехала с Горьким в Италию, в Сорренто. После смерти Горького, скончавшегося, как известно, в Москве и оставившего в Италии Марию Игнатьевну с ее детьми, она оказалась единственной вне России литературной наследницей Горького. К ней обращались иностранные переводчики, синеасты, издатели за авторизациями. Она назначала и получала гонорары. Переехав из Сорренто в Лондон, она вскоре вышла за овдовевшего к тому времени Г. Уэллса, отлично устроила своих детей. В настоящее время ни роли общественной, ни заметного положения в литературном мире не занимает.

В тесном контакте с издательством «Всемирная литература» был тогда «Дом искусств» на Мойке, под который Наркомпрос отвел двухэтажный особняк известного богача, мецената С. Г. Елисеева, находившегося уже тогда за границей. В этом особняке — опять-таки благодаря хлопотам Горького — многие нашли приют, тепло, свет, горячую воду, обед, не очень сытный, не очень вкусный, но все же какое-то питание. Здесь ютились, но в прекрасных комнатах, лишенные насиженного угла писатели, поэты — Пяст, Вольтер, Ек. Леткова с сыном, А. Грин, автор этих строк, молодой проф. Чудовский, кое-кто из художников... Позднее, уже после моего отъезда за границу летом 1920 года, поселились в «Доме искусств» поэта Шагинян, Лев Дейч, и отсюда, из «Дома искусств», одним вечером увезен был Гумилев и больше не вернулся... В этом доме сами его обитатели и жившие близко или

далеко писатели, актеры, художники могли обедать — не помню уже, за какую цену, — получать какие-то подобия супа, пшеничную кашу, стакан чая или стакан какой-то бурды, именованной кофе. Но ходили туда охотно, потому что люди приходили в «свою семью», где можно было и посудачить, и посмеяться, и поговорить по душам, и печали свои излить...

«Дом искусств» на Мойке отапливался экономнее, хуже, чем дом издательства «Всемирная литература». В великолепной елисейской гостиной с розовыми колоннами лекторы читали в пальто, в валенках о фонетическом методе преподавания иностранных языков, об искусстве писать рассказы (Е. Замятин), об искусстве стихосложения (Н. Гумилев), о санскритской драматургии, о ниществе и Фрейде, о Гёте и Бетховене, о друидах и менадах — а слушатели, в пальто, валенках и башлыках, дышали паром и нагревали воздух в зале. За окном трещали морозы, где-то то далеко, то порою близко трещали выстрелы — кто-то кого-то настигал, кто-то кого-то убивал... Об этом говорили. Шепотом сговаривались, как, парами или втроем, впотьмах, если по дороге, добрести домой, потому что не было уже ни трамваев, ни извозчиков...

В другом зале, не менее великолепном, чем розовый с колоннами, два раза в месяц выступали лучшие певцы и певицы, лучшие солисты Петербурга — и для того, чтобы порадовать друзей-писателей, и для того, чтобы самим провести часа два-три в близкой им духовно обстановке, среди своих отборных почитателей, любивших, умевших ценить их искусство... И только в эти концертные вечера администрация дома умудрялась устраивать буфет, где блистала уцелевшая часть елисейской сервировки и можно было получить не только совсем приличный чай, но и небезвкусное пирожное, и крохотный бутерброд с сыром или красной кетовой икрой... А главное, встречались, радуясь встрече, люди, не уверенные в возможности следующей встречи, не уверенные в том, куда и в какую даль



рассеет их Рок в ближайшие дни, в ближайшую ночь. Никто ни в чем и никого ни обвинить, ни заподозрить даже не решился бы, но присутствие чьего-то незримого Недреманного Ока ощущалось всеми... Никто во всеуслышание ни своих чаяний, своих упований, ни своего отчаяния или безнадежности не высказывал. Но вполголоса, шепотом, в одном, в другом уютном углу можно было, как в помещении издательства «Всемирная литература», изливать всё, что накопело в сердцах...

Иных уж нет, а те далече... Много, много людей, с которыми в дружбе, в добром знакомстве, во взаимно-благожелательном соседстве проходили дни, месяцы, годы, ушли в мир иной, но в памяти моей они все живы со всеми нашими общими горестными надеждами и верою, что все минется... Она, Родина, — останется...

Без романтики

История побегов, уходов, отлетов из России, начиная с 1918 года, и еще не совсем законченная по наши дни, — так богата драматическими, трагическими, романтическими и пикантными эпизодами, что увлекательного чтения ее хватит, вероятно, надолго, но как трудно будет будущему историку, социологу, который поставит себе задачей восстановить в более или менее правильном освещении эту тягу из родной страны, как трудно будет разбираться в хаотическом изобилии реминисценций. Начиная с того, что большинство людей, совершивших что-то, связанное с риском, склонны преувеличивать опасности, каким подвергались, опасности, какие им грозили, и, наконец, бестрашие или находчивость, с какими одолевали все эти опасности и преграды.

И мне совестно осложнять задачу будущего писателя, историка или романиста, прибавляя к тому, что об уходах из России уже написано, напечатано, и свои воспоминания.



Уезжали друзья, близкие мне люди. И я решила — уехать. Но оставались друзья, близкие мне люди. И я могла остаться. Работой я была буквально завалена. Переводила для «Всемирной литературы», государственного издательства, для частного издательства «Прометей». Жилось трудно, но мне, сравнительно с сотнями тысяч других людей, жилось не так уж и плохо. Самое необходимое у меня было. Вот-вот — было самое необходимое. Но не было того, чего хотелось, к чему привыкла, что стало теперь доступным лишь очень и очень немногим людям. И не было сознания — но сколько людей как-то незаметно стали к этому привыкать — не было сознания, что, если захочу — пойду, куплю билет и поеду, куда потянет... Я привыкла часто уезжать за границу. Уезжала к больному, близкому мне человеку, и с этими местами моего паломничества сроднилась. Они стали мне необходимыми. И, пожив некоторое время вне России, начинала томиться о России, спешила уложить свои вещи и возвращалась в Россию.

В те годы — начиная с 1918 по 1920 г., когда я уехала, — никому и в голову не приходила мысль, что долго, быть может, очень долго нельзя будет вернуться в Россию.

В том, как я уехала — в Псков, из Пскова — переедетая деревенской бабой, до пограничной деревушки Мижуги, оттуда со случайной спутницей-фельдшерницей пешком к эстонской границе и, наконец, без паспорта, без визы путешествие в Ревель, — тоже, вероятно, был риск и были, конечно, моменты тревожные, но я запомнила лишь милые, поэтичные, и на них часто останавливаюсь я мысленно...

В Пскове, где очутилась, получив от Наркомпроса мандат с целью чтения лекций на курсах для народных учительниц — группа профессоров еще до меня уехала в Псков с такими же мандатами, — в этом чудесном городе я познакомилась с несколькими десятками сельских учи-



тельниц. Что это за милые были девушки! Как плохо они были одеты, какие жалкие были на них самодельные туфли на подошвах из бечевки! Как доверчиво, жадно слушали они мои наспех составленные лекции о женских типах Бальзака, о Ромене Роллане, об арабской женщине, о египетских мумиях... И я узнавала от них, как скудна, убога их деревенская жизнь. Узнавала, что и делать свое дело им всё трудней и трудней: ни учебников, ни тетрадей, ни карандашей, ни чернил в таком количестве, какое необходимо, и как трудно им справляться с озорной деревенской детворой...

Запомнился мне тихий летний вечер — канун моего ухода из Пскова.

В доме, где отведена была чья-то большая, полупустая квартира для приехавших из Петербурга лекторов, жил и профессор истории и литературы Иван Михайлович Гревс. Это был скромный, душевно-изящный и чуткий человек. Он знал, что я переводила Ромена Роллана, говорил мне, что этот писатель в течение нескольких лет был незримым спутником его жизни. У меня был с собою не переведенный еще в России «*Cola Brongnon*», который до него еще не дошел. Я выждала минуту, когда Гревс сидел в столовой один, подошла к нему с книжкой и поверила ему свой план — о нем никто не должен был знать.

— Вот, Иван Михайлович — вам на память книжку... И если послезавтра ничего обо мне не услышите, стало быть, всё сошло благополучно...

Он понял, крепко пожал мне руку, пожелал в немногих словах много, много хорошего... Тогда переходивших нелегально границу арестовывали и расправлялись с ними беспощадно.

Опускаю домашний арест в Печорах, обыск, неуспынный надо мною надзор эстонских властей... Всё это выпало многим сотням и было, быть может, слишком живописно воспроизведено.

И вот наконец я в Ревеле, в дружески расположенной ко мне семье известного в России адвоката Кальмановича,



в свое время известного больше всего по его удачным выступлениям на процессах политических «преступников». Но что больше всего меня удивило, поразило и смутило тогда в Ревеле? И в такой степени, что несколько дней я не могла опомниться, и казалось, что всё, что я вижу, слышу, — сон, который вот-вот кончится и я вернусь к действительности. Это были контрасты, это было какое-то радостно-праздничное возбуждение, каким объаты были русские люди, с которыми я стала встречаться в Ревеле, и — так казалось мне — полное непонимание того, что происходило в такой еще близкой России. Нахлынуло тогда в Ревель много богатых людей из обеих столиц и многих других больших городов, которым удалось вывезти и деньги, и драгоценности. Дельцы, опытные и неопытные, ломали дела, зарабатывали большие деньги, и тогда уже пошла продажа иностранцам разных угодий, какими иные продавцы и не обладали даже, и, так как падение советской власти ожидалось со дня на день, уже шел торг концессий на какие-то заводы, проведение железнодорожных путей, где их не было еще в России, на эксплуатацию всяких естественных богатств России, до которых не успели докопаться прежние хозяева страны. Лучшие отели были переполнены, открывались новые и новые великолепные рестораны и кафе, витрины магазинов соперничали с парижскими и венскими модными новинками, витрины гастрономических магазинов напоминали давние витрины магазина Елисеева на Невском проспекте.

Жили в Ревеле несколько видных представителей советской власти, и виднейшим среди них был Иоффе, было много соглядатаев и шпииков, много досужих толков, и сплетен, и анекдотов...

Не то пир во время чумы, не то великий радостный канун страстно-желанного переворота, раскаты которого уже будто бы и слышны были людям, наделенным особо чутким политическим слухом...



После трех с половиною лет жизни в таких условиях, в каких жила я, как и миллионы других людей, в России, такой фантастикой казались мне отлично сервированные столы, блеск хрусталя и серебра, горничные в гофрированных чепчиках, лакеи в белых перчатках, изысканные блюда, ароматный кофе...

Меня угощали, и я ела, пила с удовольствием, и по ночам у меня бывали кошмары, но только первое время, только первое время... Я скоро привыкла к тому, что можно зайти в ресторан и спросить жареного цыпленка или утку с печеными яблоками, скоро вошла во вкус лукулловых парадных званных обедов и перестала видеть во сне скудость, убожество тогдашней жизни в Петербурге, жизни, какою сама еще так недавно жила. Перестала видеть во сне «буржуйки» — дымящиеся железные печурки, на которых мои приятельницы готовили себе и детям голодные, невкусные, без жиров обеды, и уже развеселый Ревель с хорошим русским театром, опереткой, концертами меня не удовлетворял. Я рвалась в столичный город, суливший больше того, чем тешил Ревель, и, когда меня спрашивали, тоскую ли я по Петербургу, как в первые дни приезда в Ревель, я краснела и от прямых ответов уклонялась...

У меня было с собою мало денег, но много заметок, записок, зашитых в одежду, в суконные ботики, и по этим бумажкам я могла составить доклад «Карточные домики советского строительства» — прочитала его в местном театре, в переполненном до отказа зале. Два дня спустя повторила его, и тоже в театральном зале, в Юрьеве, бывшем Дерпте, и денег у меня оказалось в количестве, о каком я и мечтать не смела. Во время десятиминутного перерыва моего доклада в Ревеле пришел ко мне за кулисы какой-то с иголки одетый офицер и предложил мне сотрудничать в местной правого толка газете, от чего я учтиво отказалась. И вслед за ним подошли двое неряшливо одетых лохматых молодых людей — с упреком: «Почему



не дали нам знать, когда находились под домашним арестом в Печорах, мы бы приехали за вами...»

— С кем имею удовольствие?..

— Мы — эсеры... Приступаем к печатанию новой газеты, руководить которой будет из Лондона Керенский и еще находящийся здесь, в Ревеле, В. М. Чернов... Нам поручено вас просить работать с нами...

Несколько дней спустя я на лестнице одного загородного элегантного пансиона встретила В. М. Чернова.

— А... — он знаком указательного пальца, прижатого к губам, предупредил дальнейшие мои восклицания.

— Я здесь не Виктор Михайлович, а Борис Николаевич, — назвал и фамилию. Я забыла ее.

Из нескольких фраз, какими обменялась с ним, я поняла, что газета «Народное дело» нужна ему и Керенскому не для просвещения русских читателей в Ревеле, а для другой, более важной задачи, а задачей этой было наиболее скорейшее свержение советской власти. Газета должна была поддерживать у своих читателей веру в то, что осуществление этой задачи свершится скоро, скоро, скоро...

Советские шпионы выслеживали Чернова — он должен был исчезнуть из Ревеля. Время от времени и он, и Керенский присылали статьи ревельской газете, и больше всего информационных заметок. Из Лондона, из Берлина, очевидно, легче было освещать события в России, чем в самом столь близком к России Ревеле. Я давала этой газете литературные заметки, рассказы, театральные рецензии, время от времени — когда опаздывала статья Чернова или Керенского — писала, поучаемая одним из двух молодых людей, отрекомендовавшихся «мы — эсеры», передовые статьи. Работа моя хорошо оплачивалась, и когда я неожиданно получила из Парижа от Комитета помощи писателям за подписями Н. Чайковского, И. Бунина и М. Алданова чек на пятьсот франков — это большие по тогдашнему времени деньги, — я могла этот чек немед-



ленно вернуть, не учтя его. Из вывезенных из России красивых чувств еще оставалась гордость. С годами, в эмиграции, чувство это постепенно замирало. Но тогда еще казалось зазорным принимать общественную помощь, имея возможность своим трудом покрывать свои расходы...

Тогда же мне представился случай — уже в другой плоскости проявить свое «писательское» самолюбие. За время моего пребывания в Пскове я наслышалась много о главе московской Чрезвычайки, эстонце Матсоне. Два раза я встретила его на набережной Великой. Это был молодой еще человек, не очень высокого роста, с жутко бледным, очень красивым, мрачным лицом. Классическая оперная демоническая внешность. Рассказывали, что всегда молчалив, в служебных отношениях — малословен, никогда не повышает голоса, но расстреливать осужденных предпочитает собственноручно. Я послала в только что тогда возникшую в Париже газету «Последние новости» статью, озаглавив ее «Демонический Матсон». Ее немедленно напечатали, изменив заглавие на «Кровавый Матсон». Мне это заглавие показалось безвкусным и посягательством на авторскую независимость. Я выразила свой протест, отказавшись от гонорара. И сотрудничество в этой газете возобновилось лишь два года спустя, когда газета была уже газетой Павла Николаевича Милюкова.

С тех пор прошло тридцать пять лет. Увы...



Берлин. 1920—1923

Мой путь из Ревеля на Запад лежит через Ригу, Либаву, Мемель, Данциг — Берлин.

Широкие, чистые, скучные улицы Риги, опрятной, со всякими европейскими удобствами, с большими скучными комнатами гостиница и учреждения — одно, два, три, шесть, семь — по каким надо мотаться, чтобы, сверх уже полученных в Ревеле каких-то удостоверений и пропус-



ков, добывать новые, дополнительные и объясняться с чиновниками, говорящими одинаково плохо и по-русски, и по-немецки... И наконец в ненастный ноябрьский вечер по дрожащему под ветром трапу вступаю на пароход, испугавший меня своими размерами. Пароход-карлик, пароход-недоносок какой-то. Но выбирать не из чего было и ждать другого, подросшего, оформившегося судна — некогда было. Визы у меня были транзитные, краткосрочные, и надо было их использовать. Кают не было, кроме двух: капитанской и еще какой-то важной персоны. Была одна большая общая, одна столовая, один салон. И всё неуютно, неприветливо, холодно, и из всех щелей дуло, и старьёй каркас немолчно охал и скрипел. Не успели сделать несколько узлов, не успело суденышко выйти в открытое море, как раздались стоны, оханья, детский плач, те неприятные, отвратительные звуки и запахи, какими сопровождается морская болезнь, тошнота и рвота.

Ко мне, темноволосой, присоседилась уже в первый час нашего путешествия моих лет дама, светло-, почти беловолосая. Немка. Вдвоем, держась за руки, опираясь, когда надо было, на плечи, она — на мои, я — на ее, удалось нам через груды катавшихся по полу охающих тел выбраться из общей каюты на верхнюю палубу, и, поразив нашей смелостью сидевшего на капитанском мостике капитана, — ночь была темная, дождь лил, как из пожарного насоса, — выпросили у него разрешение приткнуться на лавочке под самым мостиком. Это была, впрочем, не лавочка и не скамейка, а просто довольно широкая доска, зачем-то вделанная в стену. Над нею с обеих сторон были большие медные крюки, на которых болтались — на одном и на другом — кожаные петли. По-видимому, для укладки каких-то вещей, чьих-то чемоданов. Пароход-недоносок резвился, взлетал вверх, как на качелях, с визгом, ревом прыгал вниз, снизу неслись крики, стоны, широкие мутно-пенные во тьме брызги взлетали на нас обеих, на наши непромокаемые, плотно стягивавшие нас макинто-



ши. Чтобы не пугать друг друга гримасами неизбежной тошноты, мы смотрели обе в разные стороны. Издали, вероятно, мы похожи были на какое-то редкое чудовище, двуглабое. С белой и темной головой. Из крепко сжатых уст немки вылетало время от времени — о, Gott, o, lieber Gott!, из моих уст вылетал — отлично помню — только скрежет зубов. Кончилась эта ночь. И, по-видимому, мы обе все же держали себя с достоинством, человеческого облика не теряли. Капитан, казавшийся ночью под кожаным колпаком хмурым и тяжелым, оказался добродушным и приветливым и предупредил, что если нам отдохнуть охота, то вряд ли мы в Мемеле комнату найдем. Такой наплыв. Каждый пароход привозит десятки, сотни чающих отдыха, отдыха и ночлега. Мы комнату все же нашли. Одну, и легли — немка беловолосая, я — черноволосая, и проспали до отхода поезда в Данциг, где была пересадка на Берлин.

Мемель — исторический город. Здесь состоялась знаменательная встреча Александра Первого с королем Фридрихом и красивой молодой королевой Луизой. Сюда он помчался, прервав столько обещавшее заседание «Негласного комитета», разочаровав своих молодых, как он, сотрудников, графа П. Строганова, Адама Чарторьского, Новосильцева и Кочубея, в возлагавшихся на этот «Негласный комитет» упованиях. Намечавшиеся реформы, которые должны были осчастливить Россию и русский народ, остались в проектах, а копии проектов — в письменных столах участников «Комитета». Александру Первому столь же не терпелось прекратить наскучившие ему заседания «Комитета», сколь не терпелось встретиться скорее с молодой красивой королевой Луизой...

На какой-то остановке недалеко от Мемеля моя беловолосая спутница вышла из поезда, и я продолжала свой путь одна.

В Данциге, во время пересадки из одного поезда в другой, услышала я русскую речь. Меня деликатно опередили



два отлично одетых очень тучных человека. Два носильщика несли за ними великолепные чемоданы. Ни на кого не глядя, продолжая громко говорить по-русски, персоны вошли в вагон первого класса, единственный в составе поезда. Это были первые для меня — после многих лет — видения прежнего мира. Таких невозмутимо-уверенных в своей отмеченности перстом судьбы, таких как-то не отделимых от своих где-то владений, от своих титулов, чековых книжек, таких механически-учтивых, таких надменно и обидно деликатных не привелось мне встречать и в многолюдном тогда, веселившемся, расточительном ревельском русском обществе. Те, в Ревеле, всё же обладали чертами «нуворишей», и в их возбуждении, в их упоении земными благами проглядывала порою и неуверенность, таимая и все же проскальзывавшая неуверенность в ближайшем будущем, и стремление урвать от жизни, что можно было урвать. «Хоть день, да мой...» Эти же двое принадлежали к особой касте. Таких мне приходилось позднее, но лишь в первые годы, встречать в Берлине, в Париже. И как наблюдатели, так и объекты этих наблюдений, увы, как далеки они были от одних предположений о возможных метаморфозах, какие ждут в будущем избранников судьбы...

Берлин я знала по частым поездкам за границу в дореволюционные годы. Берлин запомнился чистотой, уютом, комфортом, приветливостью, соблазнительными витринами и соблазнительной дешевизной.

Берлин 1920 года — я приехала 20 ноября 1920 года — в первый же день смыл с экрана моей памяти все сохранившиеся на нем впечатления. Из одного и другого пансиона, где я жила в прежние мои приезды, мне ответили по телефону не звонкоголосая фрейлен Лотте и не благодушная фрау Винкель. Из одного пансиона ответил незнакомый хриплый голос, из другого — незнакомый мужской сильный голос, и оба грубовато и раздраженно, что никаких пансионеров, и никакой Лотте, и никакой фрау



Винкель. «Напрасно беспокоите...» Пришлось пойти в ближайший к вокзалу отель и после долгих допросов, расспросов — кто? откуда? зачем? и кто меня в Берлине знает? — получила наконец комнату с обязательством столотаться тут же в ресторане при отеле. Внушила ко мне доверие хозяев отеля ссылка довольно смелая на «Ульштейн-Ферлаг» (издательство Ульштейн), в доме которого помещалась редакция «Руля». Я сослалась и на редактора этой газеты «Герр профессор Гессен». Благодаря Иосифу Владимировичу Гессену я получила визу в Берлин. Это казалось мне правом сослаться на него. За первой же трапезой в ресторане этого отеля я услышала за соседним с моим столиком русскую речь. Разговаривавшие были молоды, оживленны и симпатичны. Довольно было обмена двумя-тремя взглядами, одной-двумя улыбками для того, чтобы мы познакомились и кофе, такой не похожий на стародавний вкусный, душистый берлинский, мы пили уже за одним столом. Это был молодой художник Пуни и молодая жена его Ксения Леонидовна, тоже художница. Позднее, уже в парижские годы эмиграции, Пуни стал известным художником, и выставки его и по этот, 1956 год, отмечаются как событие в художественной жизни Парижа. От Пуни я узнала, что пансион, маломальски доступный по ценам, трудно найти в Берлине, еще труднее найти комнату, квартиру, что русских уже немало, что пути сообщения по разросшемуся городу уже не те, какие запомнила я. И прежде всего никаких фиакров. Лошади давно все съедены, а кучера пали «на поле брани и чести». Узнала, что они тоже ищут пристанище и не находят.

Надо было заново строить свою жизнь. ЗАВОДИТЬ ЗНАКОМСТВА. Я уезжала из России не на вечность. Я уезжала из многолюбимого Петербурга с болью в сердце. Уже до этого отъезда я знала несколько европейских столиц — Вену, Лондон, Рим, знала хорошо швейцарские и чудесные итальянские города, знала Каир, но душою



моею владел Петербург. Мне казалось или я уверяла себя, что лучше, красивее Петербурга нет города во всем мире. С Петербургом связаны были мои лучшие молодые годы, моя любовь, мое счастье. То, что не забывается и не повторяется.

В Петербурге оставались мои друзья, которые наказывали мне, когда я уезжала: «Помните... Не забывайте». И я помнила этот наказ.

В Москве оставалась моя сестра с маленькими детьми. На Кавказе — другая моя сестра, врач, с приходом большевиков к власти ставшая на их политическую платформу и как энтузиастка, и как должностное лицо. Она ведала казенной лечебницей в Кисловодске. На юге России оставалась многолюбимая мною мать. Все эти родственные и дружеские связи налажали на меня некие обязательства. И я эти обязательства применяла и к себе самой. Я считывала, я хотела вернуться в Россию, в Петербург.

При первых же встречах в Берлине со старыми и новыми знакомыми я почувствовала, что о каких-то обязательствах в отношении оставшихся в России близких мне людей лучше не распространяться. У первых же беженцев из России, обосновавшихся удобно, а были это в большинстве люди состоятельные, имевшие вклады в иностранных банках, сумевшие вывезти из России ценности, скоро сложились с наивной серьезностью и столь же наивной беспечностью повторявшиеся девизы: «В единении сила», «Мы пойдем сомкнутыми рядами» и т. п. На меня это производило впечатление детской игры во взрослых. Да, объединялись — вокруг карточных столов. Да, сомкнутыми рядами — шли на веселье опереточные спектакли с неподражаемой артисткой Фрицци Массари, в артистически обставленные немецкие кабаре и на выступления известных артистов, какими кишел тогда Берлин.

Еще больше, чем в Ревеле, поражала меня уверенность новых русских эмигрантов в падении советской власти в самом близком будущем, и всё будет, как было... И пото-



му надо было от этого, хоть и вынужденного, пребывания за границей взять всё, что давало это пребывание, испить всю чашу удовольствия, какое оно сулило.

У уезжавших из России накануне Февральской революции, вскоре после «Февраля» и в первые, самые первые месяцы после октябрьского переворота, были совершенно другие представления о русской действительности, нежели те, какие высказывали эмигранты двадцатых годов. По письмам, записям, дневникам и отчасти по печатным литературным произведениям тех годов будущему историку интересно будет проследить эволюцию этих представлений об оставленной России, так же как и взлеты надежд и упований или внезапные шквалы сомнений и пессимизма.

У многих эмигрантов первого периода эмиграции оставались в Петербурге, Москве, Киеве, Одессе дома, квартиры, у кого усадьбы, имения — на попечении «надежных людей». И верили (и как верили!), что «надежные люди» их добро сберегут, и, лишь только можно будет, напишут им «приезжайте». И поедут на старые, родные места... Новоприезжие эмигранты, имевшие возможность хорошо принимать гостей, устраивали вечеринки, давали обеды, на вечерах и концертах появлялись в модных туалетах, в бриллиантах. Скоро появилась в Берлине и новая еще для Берлина разновидность русского беженства. Бывшие офицеры, жены бывших офицеров, носителей громких русских имен, бывшие светские дамы, бывшие воспитанницы привилегированных институтов стали приманками самых дорогих кафе, кабаре, ночных баров. Мужчины в черных бархатных шароварах, в малиновых и ярко-желтых шелковых косоворотках, дамы в сарафанах и кокошниках играли на балалайках, пели русские песни, танцевали «русскую». С платочками, с низкими поклонами. Честь честью. Без обмана. Немцам нравилось. Кабаре с русскими балалаечниками и русскими плясками бывали переполнены до отказа. Богатые иностранцы-жуиры приглашали русских певцов, танцовщиц к своим столикам, угощали их



шампанским. И чем знатнее были эти дамы, чем достойнее их прошлое, тем щедрее угощали их. А дирекция каждого такого кабаре, кафешантана деликатно и таинственно осведомляла важных посетителей о недавнем прошлом этих русских дам. Русская графиня... Русская княжна... Племянница министра Х... Генеральская дочь... Все это было еще новинкой в тогдашнем Берлине. И так соблазнительно. И так лестно. Вот до чего докатились эти русские...

Наряду с этой эмиграцией — с ломавшими большие дела, кутившими, покупавшими, продававшими — обозначился, и очень скоро, другой класс русской эмиграции. Объединялись русские писатели, художники, русские ученые.

Верхний этаж скромного кафе «Леон» на Ноллендорф-Плац стал почти что нашим клубом. Здесь не только читались доклады, лекции, новые стихи, новые беллетристические произведения. Здесь встречались русские эмигранты, как их называли тогда, «от литературы, искусства, науки» и здесь выступали тогда время от времени гости из Петербурга, из Москвы. Встречи с эмигрантами тогда еще не грозили советским писателям и артистам никакими репрессиями. В «нашем» кафе «Леон» на Ноллендорф-Плац сделал доклад тогда уже известный московский режиссер Таиров. Вслед за ним приезжал Эренбург, Алексей Толстой с женой Натальей Крандиевской. И Крандиевская не побоялась предложить возникшему тогда издательству «Грани» сборник своих стихов для издания. Одно за другим возникали новые русские издательства, открывались русские магазины, библиотеки. Некоторые, как издательства Ладыженского, Дьяковой, Гржебина, существовали еще до Февральской революции, так как с давних пор была в Берлине русская колония. Представлявшие эту колонию — близкие к посольской миссии, представители крупных торговых фирм, банковские дельцы и учащаяся русская молодежь — были усердными потребителями русских книг.



В первые месяцы Первой мировой войны состав этой колонии изменился — не стало посольской миссии, поданные «враждебной страны» вынуждены были уехать, русские студенты были призваны в действующую русскую армию. А потом немногие члены этой давней русской колонии вернулись и сливались уже с новыми эмигрантами.

В 1921—1922—1923 — в годы, проведенные мною в Берлине, русская речь слышна была на улицах, в магазинах, в ресторанах, в кафе... И на эту тему варьировались анекдоты: «Представьте себе, вчера на Курфюрстендамм встретил двух дам, отлично говоривших по-немецки...» или «Своими глазами видел, своими ушами слышал вчера на Кайзер-Плац трех настоящих немцев...»

Надо было пойти поблагодарить Иосифа Владимировича Гессена, позаботившегося о визе для меня. И я была приятно удивлена внушительными размерами дома, где помещалась редакция его газеты «Руль». Это был дом одного из богатейших в Германии издательств «Ульштейн». Благодаря давним дореволюционным связям петербургской профессуры, к которой принадлежал и И. В. Гессен, под редакцию «Руля» Ульштейн великодушно предоставил несколько больших светлых комнат. Встретили меня и Гессен, и ближайший его сотрудник В. Д. Набоков радушно, ласково. И оба они, и забегавшие в кабинет сотрудники были оживлены, бодры, отлично одеты, и такой был у всех у них вид, будто ничего такого не случилось и будто не были они выброшены из своей редакции «Речи» на Итальянской, и будто не на чужбине вовсе, и не в чужом доме пользуются таким приятным помещением.

Мое сотрудничество в «Руле» началось с обоюдных несогласий, споров, компромиссов и уступок. Вот по какому поводу. В те дни вышла в издательстве того же Гессена «Слово» небольшая книжка Алданова «Маленький остров — Святая Елена». Автор ее в тесном литературном кругу был уже известен в России. Еще в 1918 году —



в самом начале года — вышел в Петербурге его едва ли лучший из всех написанных им позднее книг большой этюд «Ромен Роллан и Толстой». Уже говорили о нем как о человеке большой эрудиции, как о человеке острого ума. А было ему тогда всего 26 лет. Позицию общественно-политическую он, несмотря на свою молодость, занимал очень почтенную: примкнул к партии трудовиков, слившуюся скоро с народными социалистами. Это была позиция не рискованная, ни к чему жертвенному не обязывавшая и близкая идейно к английским «лейбористам», которые были тогда в моде. В составе членов «лейбор-парти» числились и представители старинной английской знати.

Меня, только что приехавшую из России, из Петербурга, со свежей еще памятью о страшных ночах, о грозных днях, о дамокловом мече, висевшем над каждым из обитателей столицы, имевшим неосторожность высказать громко свое суждение о каком-либо правительственном акте, меня смутила элегантность этой книжки, показался несвоевременным ее светский какой-то тон и легкий удобоваримый скепсис. Тогда — я так полагала — русский писатель, оказавшись вне России и обретший возможность свободного творчества, должен был «глаголом жечь сердца людей». В таком духе и с жаром, отвечавшим тогдашним моим летам, я и написала довольно большую рецензию на эту развлекательную книгу.

Редакторы «Руля» пришли в ужас. Об Алданове! О книге, вышедшей в нашем издательстве, где будут печататься и дальнейшие его книги!.. Вернуть мне статью редакция, однако, не пожелала. Настаивали на сокращениях, я не соглашалась, пожимали мне руки, говорили милые слова, и в конце концов статья с сокращениями, сути ее не менявшими, была напечатана. И надо же было случиться так, что как раз в день появления статьи приехал из Парижа Алданов. И возмутился, прочитав мою рецензию. Мы еще не были тогда знакомы. Только двумя-тремя письмами обменялись, когда я была еще в Ревеле. Редакции «Руля»



не трудно было свалить вину за причиненную ему неприятность на меня. Только, дескать, «оттуда»... А у «них» там, знаете, какие требования сложились к художественной литературе...» Умный Алданов простил мне мое «озорство», как он выразился, и у нас с ним сложились хорошие отношения, с годами все улучшавшиеся.

Еще будучи в Ревеле, я списалась с руководителями молодой эсеровской пражской газеты «Воля России». Она выходила лишь с 12 сентября того же 1920 года. Мои статьи, какие я стала посылать туда, печатались охотно, без сокращений, без изменений. Но в каждом письме редакторы, и горячее всех Лебедев, убеждали меня не давать одновременно статей в кадетскую газету «Руль». Я отшучивалась и продолжала сотрудничать в обеих газетах.

Должна оговориться: постепенно разряжался во мне вывезенный из России пафос протеста, постепенно угасала во мне уверенность в том, что облегчения ради участи остававшихся «там», в России, надо, должно «глаголом жечь сердца людей». Я не предъявляла уже таких требований к другим, так как сама ничего и никого не жгла. Писала, о чем приятно было писать — рассказы, о новых книгах, о моих скитаниях по Германии.

Первые мои путевые очерки под общим заглавием «По следам Гейне» печатались в «Воле России». И пуритански-строгие партийные редакторы их одобряли, несмотря на «легкий тон и удобоваримый скепсис». Ну а если серьезные партийные люди ничего такого огненного не требуют, то мне подавно можно остыть и, не подбрасывая угольков в свой внутренний догоравший костер, спокойно есть мороженое с «шлагане» (со взбитыми сливками). Так постепенно многие всё покорнее мирились с неприятными и приятными сторонами эмигрантского быта, всё меньше скорбели о том, что у «них», оставшихся «там», нет мороженого с шлагане, все слабее верили в возможность скорого возвращения домой и всё трезвее сознавали, что надо на долгие, быть может, годы налаживать свою



жизнь. На годы, на долгие годы... Слова «навсегда» и «никогда» еще не имели доступа в наше сознание.

Кто мог, посылал в Россию продовольственные посылки. Кто мог. И не только продовольственные. Табак, папиросы, нитки, иголки, лекарства, бритвы «жилэ». Из писем из России, из доходивших до нас недобросовестных и лживых описаний в советских газетах нашего эмигрантского благополучия «не жизнь, а масленица» — за счет, конечно, врагов России — не трудно было догадаться, какие чувства должны были питать к нам оставшиеся в России, к нам, так лихо, весело зажившим, покинув родину в ее самые тяжкие годы.

Стали все яснее обозначаться «рвы» между ними и нами. Те рвы, засыпать которые так страстно стала призывать Е. Кускова. Русские издательства, новые и давние, как издательство Ладыженского, Гржебина, Эфрона, имевшие уже налаженный издательский и распространительский аппарат, издавали с расчетом не только на эмигрантского читателя. Рассчитывали больше на возможность, на скорую возможность перебраться в Россию, а также на обещанный им представителем России доступ их изданий в Россию. Издатели обманулись в своих расчетах и терпели разорявшие их убытки. Обещанного доступа их изданий в Россию они не получили. Один только З. И. Гржебин за три-четыре года издательской деятельности в Германии выпустил около двухсот сорока книг: произведения русских беллетристов, историков, много книг об искусстве, много научных и детских книг.

Я тотчас по приезде в Берлин получила заказы на переводы от нескольких издательств. Для издательства Эфрона переводила Даутендея «Письма-сказки с острова Явы», для культурного молодого издательства «Грани» Шарля де Костера, для «Невы» — «Возрождение» Гобино и Келлермана. Издательство «Грани» стало выпускать альманах при ближайшем участии Саша Черного, моем и только-только дебютировавшего в литературе 21-летнего



Набокова-Сирина. Тогда же приступил к изданию великолепного художественного журнала «Жар-птица» Александр Эдуардович Коган, в России издававший единственную в своем роде газету «Копейка». Газета эта стоимостью в копейку имела огромный сбыт, и это дало ему возможность одновременно издавать еженедельник «Иллюстрированная Россия» — более высокой литературной квалификации.

Банкет по случаю возникновения нового журнала «Жар-птица» был почти что событием литературно-художественного сезона 1920—1921 г. в Берлине. Вся русская литературная, художественная «элита», известные артисты, певцы, певицы, балерины...

Присутствовавшие иностранные гости — редакторы художественных журналов, художники, кое-кто из политических деятелей — были восхищены, изумлены. Русская колония на этом банкете была представлена великолепно, и это значительно, увы, только на время, подняло ее престиж. Дальше поясню, почему лишь на время прониклись к нам немцы почтением.

Вокруг этих широко поставивших свое дело издателей — Гржебина, Эфрона, «Граней» — группировались художники. Нужны были иллюстрации, обложки, виньетки, заставки. У всех находилось применение своим дарованиям, работоспособности. То, что мы работали на чужбине, как-то, помимо нас, сближало нас. Каждый из нас, не отдавая себе отчета и без расчета, искал нравственной поддержки в другом. К тому времени относится — до эмигрантских писателей дошедшее горьким упреком — известное стихотворение Ахматовой:

Мне голос был, он звал утешно,
Он говорил: «Иди сюда.
Оставь свой край глухой и грешный,
Оставь Россию навсегда...
Я кровь от рук твоих отмою,
Из сердца выну черный стыд,



Я новым именем покрою
Боль поражений и обид...»
Но равнодушно и спокойно
Руками я закрыла слух,
Чтоб этой речью недостойной
Не осквернился скорбный дух.

Скоро вслед за появлением в Берлине Алексея Николаевича Толстого, приехавшего, как полагали, зондировать почву, стала выходить небольшая и просуществовавшая недолго просоветская газета «Накануне». В газете этой высмеивались, и подчас остро и зло, эмигрантские писатели, оплакивалась их горькая участь и славилось привилегированное положение оставшихся на родине писателей и художников.

В конце 1921 года стала выходить в Берлине большая ежедневная газета «Голос России», во главе которой стоял старый, даровитый журналист Поляков-Литовцев. Это была газета содержательная, чутко откликавшаяся на все более или менее значительные политические события, на новинки литературы. Но своего ярко выраженного идейного лица не было у нее. Внепартийность, нейтральность не отвечали тогда упованиям, ожиданиям эмиграции. И газета очень скоро перешла к эсерам с А. Ф. Керенским во главе. Ближайшими сотрудниками были и партийные сомышленники, и сочувствовавшие направлению газеты: В. М. Зензинов, М. А. Осоргин, В. Ф. Ходасевич и очень умеренных политических взглядов М. А. Алданов. Алдановым руководили личные симпатии к сотрудникам газеты, назвавшейся «Дни», и еще потому, что газета с первых номеров завоевала читательскую аудиторию своим динамизмом. На газете отражался темперамент ее руководителя Керенского. Ближайшие его сотрудники писали лучше его, но «тон» газете давал он, кипучий, страстный и настойчивый в проведении своих идей. Самых вялых, равнодушных, самых «прохладных» он подстегивал, расшевеливал и зажигал.



О том, как постепенно понижалась духовная температура этого незаурядного человека, — речь будет впереди.

В этой газете Керенского «Дни» я сотрудничала с увлечением с первых ее номеров и до последнего. С 1921 по 1928 год. В Берлине редакция «Дней» помещалась в шестом этаже без лифта, во втором доме на Линденштрассе, за номером три. И расположение квартиры отвечало той конспирации, в какой вынужден был жить тогда Керенский. В крайне правых кругах русской эмиграции озлобление против Керенского распалось идейными вожжами этой части эмиграции. Не будь Керенского, не будь «Февральской бескровной» — не случилось бы того, что случилось. Милюков и Керенский были главными виновниками распада царской России. Милюков и Керенский были главными застрельщиками великой смуты, выбросившей за пределы страны десятки тысяч людей. Тогда еще только в десятках тысяч исчислялась русская эмиграция. Оба должны были понести заслуженную кару. Керенского в Берлине подстерегали на всех углах. Он никогда не выходил один. Менял часы появления и ухода из помещения редакции. Только благодаря бдительности близких ему людей, только благодаря неусыпной охране не удалось ни одно из жалких покушений на него. Жалких потому, что выслеживавшие Керенского отлично знали, что за ними тоже следит германская полиция. Германии нежелательны были кровавые русские драмы с русскими лицедеями на ее территории. У нее достаточно было своих забот. При всей дисциплинированности и осведомленности она не сумела предупредить убийство Вальтера Ратенау.

Выстрел, лишивший в летний день 1922 года Германию одного из ее значительнейших, талантливейших людей, не только сочувствием, но и тревогой откликнулся в сознании русских эмигрантов. Убийство Ратенау, тогда министра иностранных дел, было делом рук еще таившейся тогда, еще открыто не выступавшей клики, которую мало-мало кому известный тогда Гитлер формировал для будущих свершений...



От входной двери в помещение редакции «Дней» шел длинный коридор, кончавшийся у двери в кабинет Керенского. Вдоль коридора несколько дверей редакционных небольших комнат были всегда раскрыты, и каждый приходивший незнакомый человек не мог без предварительного опроса продолжать путь вглубь коридора, к кабинету Керенского. Чужому человеку невозможно было проникнуть к нему. И всё же, несмотря на все меры дружеской охраны его от чьей-либо хулиганской выходки, он время от времени таким выходкам подвергался.

Мне лично привелось быть свидетельницей такого, скорее трагикомического, случая. На площадке переполненного трамвайного вагона — я сидела внутри, у самого окна, недалеко от двери — стоял небезызвестный в Берлине русский журналист, в недавнем прошлом галлиполиец, и с откровенным удовольствием уплетал вишни из картуза, который нежно прижимал к сердцу. И вдруг лицо его вспыхнуло и исказилось. Я повернула голову туда, куда уставился он потемневшими от злобы глазами, и увидела в окне двигавшегося рядом с нашим трамвайным вагоном автомобиля Керенского. В то же мгновение, как я заметила его лицо, я увидела и полетевший в автомобиль картуз с вишнями. Кто-то охнул, кто-то вскрикнул. Рассчитывавший своими вишнями размягчить голову Керенского стоял на площадке пристыженный. Вишни и следа не оставили на автомобиле и тотчас были раздавлены другими автомобилями.

Керенскому жилось в то время плохо. Это заметно было и по его одежде, и по его подавленности. Его поддерживали парижские эсеры, Бунаков-Фондаминский, человек богатый, лондонские Гавронские и Высоцкие, той же семьи и люди имущие. Он получал значительную субсидию на газету из Праги. Но не надо было большой проницательности, чтобы видеть, чувствовать, как угнетала его и зависимость, и утомительная конспирация, и поднадзорное существование. Поставившие себе целью подвергнуть



искупительной каре виновников русской трагедии между тем не дремали. Не Керенский, так в первую голову Милюков.

Когда в русской газете объявлено было о том, что из Парижа придет Милюков, чтобы прочитать доклад о России перед лицом международного положения, и в русских книжных магазинах открылась продажа билетов на этот доклад, и хозяева, и служащие этих магазинов отметили, во-первых, обилие посетителей, никогда в эти магазины не заглядывавших, и то, что покупали они билеты не на одного, не на двоих слушателей, а пачками. Ясно было, что на доклад Милюкова подготавливается некий подбор публики. Но никому не приходило в голову, что билеты разбираются людьми, хорошо изучившими расположение мест. Лишь позднее выяснилось, что билеты выбирались, отбирались с таким расчетом, чтобы размещение зрителей-слушателей способствовало выполнению преступного замысла. В зале не было бельэтажа, проходы между средним и боковыми рядами были узкие. Всё это, по-видимому, было учтено шедшими на этот доклад с определенным заданием. После того как кровавое «действие» свершилось, пришлось услышать из многих уст, что какая-то трагедия предвиделась, что многие будто бы обратили внимание (оно так и было) на какие-то таинственные знаки, подававшиеся кем-то из первых рядов в задние ряды.

Я сидела в шестом или седьмом ряду от невысокой эстрады, вернее, подиума с Анной Ильиничной Андреевой, вдовой Леонида Андреева, и мы ничего не заметили. Обратили мы обе внимание лишь на то, как великолепен, элегантен был в этот вечер В. Д. Набоков. Когда вышли из-за кулис Милюков с Набоковым и тотчас грянул выстрел, всех оглушивший не столько звуком, сколько неожиданно, и раздались крики «ложитесь на пол!», мы обе успели лишь заметить падающего Набокова и край черного сюртука уходящего за колонну Милюкова.



Другой выстрел — и раздался гул криков, стонов, плача... и не успели мы опомниться, в зал ворвалась ватага немецких полицейских, «шутцманов», ошалелых от злобы, остервеневших от возмущения этими нарушителями порядка, и с криками «вон! вон!.. русская сволочь» — «Heraus! Heraus!.. Russische Halunken...» стали разгонять публику. Мгновенно облетела зал весть, что Набоков убит наповал, Милюков цел. Только на следующий день известно стало, что убийцы — два бывших галлиполийца, Шабельский и Таборийский, не успели убежать из зала и лишь благодаря полиции избежали «суда Линча» — от рук свидетелей — очевидцев преступления.

Комментарии этого события в немецких газетах не могли не отразиться на отношении немцев к нам, эмигрантам, снимавшим у них комнаты. Не укладывалось в головах добронравных немцев и немок, что одни эмигранты, нашедшие приют в Германии, убивают других эмигрантов-соотечественников, тоже в чужой стране нашедших приют.

А когда стало известно, какими заботами окружены в тюрьме Шабельский и Таборийский, и вовсе перестали что-либо понимать. Удивлялись только тому, что из столь скромных достатков «эти русские эмигранты» находят возможность тратить такие бешеные деньги на ежедневную доставку убийцам изысканных блюд, цветов, конфет, тонкого белья, одеколona и всяких верных аптечных средств для борьбы с тюремными клопами и бессонницей. В течение долгих месяцев истинно-русские патриоты состязались в конкретных выражениях нежной благодарности мстителем за их поруганные патриотические чувства.

А было это время, когда иностранцы, в частности немцы, считали своим долгом оказывать внимание русским беженцам. В первые месяцы, в самые первые годы русской эмиграции русский писатель, художник, музыкант мог еще рассчитывать на действенный отклик собрата по перу, по кисти, на товарища по профессии. Когда к Алексею Михайловичу Ремизову стали придирались его квар-



тирные хозяева якобы за разбитую тарелку, а в действительности просто пожелавшие избавиться от такого ненадежного жильца, какой может вдруг взять да выстрелить в своего же соотечественника, Ремизов, не колеблясь, обратился к Томасу Манну. (Конфликт с квартирными хозяевами не замедлил разрастись в конфликт с берлинской полицией, усомнившейся в праве «этого русского» пребывать на территории Берлина.) И Томас Манн не замедлил откликнуться, сделать всё, что надо было сделать, чтобы Ремизова оставили в покое. Он написал ему письмо — привожу его полностью:

«Глубокоуважаемый Герр Ремизов, узнаю, что русские в Берлине переживают какие-то затруднения, чинимые им администрацией по поводу права жительства. Я убежден, что перед Вашим именем эти затруднения должны прекратиться. И я не могу не сказать Вам, что мне было бы очень прискорбно, если бы с Вами случилось что-то неприятное в Германии. Я того мнения, что Германия должна гордиться тем, что один из первых русских писателей современной России находится в настоящее время в Берлине. С удовольствием вспоминаю встречу с Вами в прошедшем году. Мне было в высшей степени приятно и ценно познакомиться с Вами лично.

С совершенным почтением и сердечным приветом Вашим соотечественникам*, с которыми я познакомился у Вас.

Очень преданный Вам Томас Манн».

Томас Манн русского языка не знал. Ни Ремизов, ни Пильняк не говорили по-немецки. Один Андрей Белый. Он один говорил за всех. И все трое, взвинченные, темпераментные, взвихренные и кипучие, не могли не пленить благородного, сдержанного в проявлении своих чувств, по внешнему облику с головы до ног внушительно-серьезного, с налетом неподдельной печали в глазах Томаса Манна.

Ни Пильняк, ни Андрей Белый не были переведены тогда на немецкий. Томас Манн мог лишь прочесть кое-

* Это были Андрей Белый и Борис Пильняк.



что из почти непереводаемого ни на какой иностранный язык произведений Ремизова. Но он поверил на слово немецким переводчикам, знавшим русский язык, и уверовал в Ремизова. Ремизова уже в самые последние годы стали переводить во Франции, и даже хорошо переводят теперь, но французы его, конечно, не понимают и — одни из снобизма, другие из расположения к нему лично — читают и хвалят. Ни стиль, ни темы, ни строй литературной речи Ремизова совершенно не укладываются в рамки другой, не русской речи. Мне говорили, что речь болгарская, сербская восприимчивее к складу ремизовского письма. Не зная ни болгарского, ни сербского, я не имела возможности удостовериться в этом.

Письмо Томаса Манна, приведенное выше, возымело действие, какого Ремизов ждал. Его оставили в покое. Но как далек был Томас Манн, дальновидный и умный, от предположения, что через каких-нибудь шестнадцать-восемнадцать лет он сам будет переживать драму оторванности от родины и станет подданным чужой ему по духу страны.

Голод после двух неурожайных лет, обрушившийся в 1921 году на несколько центральных русских губерний, на нашем эмигрантском существовании едва-едва заметно отразился. Разве тем, что продовольственные посылки из Америки, предназначавшиеся преимущественно беженцам из России, рассеянным по разным странам Европы, стали направляться главным образом в Россию, частью через эмигрантские организации. И как ни великодушен был этот жест Америки, это все же представляло собой каплю в море страшного бедствия.

Голод в России и сведения о том, что на посильную помощь жертвам этого стихийного бедствия устремились лучшие, действенные силы огромной страны: молодые, немолодые, врачи, студенты, студентки, профессора, умелые организаторы — все это внесло в среду русской эмиграции оживление совсем особого рода. В эмигрантской печаль-



ти, на собраниях всё резче, всё страстнее звучали обвинения по адресу советской власти, не сумевшей отвести от населения эту катастрофу. От обвинений, от обличений был естествен переход к сначала осторожным, а затем к всё более откровенным упованиям на то, что голод должен был неминуемо вызвать недовольство в пораженных голодом местах и распространиться по всей России, и это недовольство повлечет за собою падение советской власти.

Тем временем росла подозрительность советской власти и недоверие к внепартийной интеллигенции, устремившейся на действительную, жертвенную помощь голодающим. Укреплению этого недоверия, несомненно, в значительной степени способствовал безопасный для находившейся вне России эмиграции пафос ожиданий на падение советского режима. Сперва глухо, а затем всё внятнее стали доходить слухи об арестах, о тюрьмах, населяемых героически работавшими в «голодных местах». Немногие — и лишь носители известных и за пределами России имен — высылались из России. В июне 1922 года появились в Берлине проф. Сергей Николаевич Прокопович с женой Е. Д. Кусковой, а там пошли уже групповые высылки.

Троцкому приписывается признание: «Мы предпочитаем выслать вас за границу, чем расстреливать или сажать в тюрьмы». Советское правительство обратилось тогда к германскому консулу в Петербурге с ходатайством о визах для высылаемых. И германский консул ответил, что желание советского правительства исполнить не может, так как Германия не место ссылки. Но если сами высылаемые пожелают получить визы, они их получают. Так и было сделано, и визы немедленно были даны. В октябре выехала из России самая многочисленная группа «не желательных России людей» — в составе 250 человек. Были среди них Бердяев, Лосский, Осоргин, Ходасевич с Ниной Берберовой, Ремизов, Кизеветтер, проф. Айхенвальд и многие другие.



Юлий Исайевич Айхенвальд тотчас вступил в состав сотрудников «Руля», и литературные среды со статьями Айхенвальда стали главной приманкой газеты. Прокоповичи, Кизеветтер, Лосский и еще несколько человек скоро уехали в Прагу, где рассчитывали найти более благоприятные условия для своей работы. Кто мог, уезжал в Париж. Новые эмигранты не скоро нашли общий язык с осевшими уже, приятно, уютно устроившимися уже вне России. Очень был разный подход к русской действительности у Е. Д. Кусковой, например, у Осоргина — и у находчивых, предприимчивых русских людей, ломавших большие дела в Германии и успешно продававших доверчивым дуракам концессии на проведение железных дорог, трамваев, на эксплуатацию всяких «Bodenschätze» (природных богатств) в России, скорое освобождение которой от большевиков неминуемо. Мало внимания было уделено в печати того времени одному эпизоду, чрезвычайно характерному для освещения того раскола, какой уже обозначался между советской артистической, художественной элитой и эмигрантами, утверждавшими высокое значение русского искусства вне России.

Знаменитая Анна Павлова, узнав о голоде в России, послала балетной труппе Мариинского театра, в которой сама, и еще так недавно, состояла, двести тысяч франков. И балетная труппа Мариинского театра в Петербурге дар этот отвергла. Деньги были возвращены Анне Павловой.

В то же лето 1922 года советская власть разрешила значительной, хорошо представленной труппе актеров Александринского театра гастроли в Берлине и Праге. Руководил этой гастрольной поездкой петербургским театрам хорошо знакомый артист и режиссер А. И. Долинов. Когда-то давно, еще при старом режиме, приезжал он в Берлин вместе с Савиной. В свое время подробности этой триумфальной гастрольной поездки, внимание императора Вильгельма к любимице русского Двора, интервью с Савиной, которую берлинские репортеры своими глаза-



ми видели возлежащей на текинских коврах и черпавшей золотой ложкой из стоявшего перед нею бочонка с черной икрой, — долго развлекали русских читателей русских газет. Большинство посетителей давних гастролей Савиной были не русские и восхищались они игрою Савиной так же, как игрою «первого любовника» александринской труппы «jeune premier», красавцем Аполлонским.

Переполнен бывал театр, где выступала александринская труппа, и летом 1922 года, но исключительно русскими, и эти русские так уже не похожи были на давних, дореволюционных русских обитателей Берлина. В гастрольной труппе 1922 года русские эмигранты радостно, бурно встречали, кроме Долинова и Аполлонского, который, несмотря на седые волосы, всё ещё был очень собою хорош, старых любимцев петербургских театралов Кондрата Яковлева и Горин-Горяинова. Пьесы «Профессор Сторицын», «Смерть Тарелкина», «Благодетели человечества» проходили по два-три раза с аншлагами, и, конечно, не обходилось без слез и без криков из партера и с ярусов: «Привет родине!» — «Возвращайтесь... Когда опять приедете?» — и цветы, цветы, цветы...

После отъезда труппы русские театралы, отрезвев, перебирая в памяти пережитые впечатления, начинали сопоставлять достоинства отечественных артистов с игрою артистов немецких. А немецкий театр был представлен в те годы великолепно такими артистическими силами, как Макс Рейнгард, Александр Моисси, Герман Тиммиг, Ирен Триш, Герма Бассе, и Краус, и Бассерман, и Кете Дорш, — перечень талантливых немецких артистов, каких могли перевидать тогда русские театралы, занял бы слишком много места.

Но общий вывод таких сопоставлений всегда был в пользу русского искусства. И сколько раз привелось слышать: «Да, да, хорошо у них, у немцев... что говорить... И много новизны, и смело, и увлекательно... Но у Станиславского всё же лучше... И нет в игре чего-то, ну,



чего-то, что и не сказать словами... За душу не берет, слез не вызывает...» В точном переводе этих высказываний это означало: «Везде хорошо, но дома лучше». Но «дома» на эмигрантском языке означало тогда «давнее, прежнее, то, что нам запомнилось, то, с чем память наша спаяна».

Новое в русском искусстве в те же, первые двадцатые, годы не воспринималось русскими эмигрантами. О великолепных постановках Мейерхольда — «Леса», «Ревизора», «Великолепного рогоносца» бельгийского драматурга Кроммелинка — писали иностранные корреспонденты в берлинские, франкфуртские, венские газеты. Мы, эмигранты, относились к ним недоверчиво, сваливали энтузиазм иностранцев на искусно поставленную пропаганду. К Мейерхольду ездил учиться Эрвин Пискатор, заимствовавший у Мейерхольда новые приемы режиссерского искусства, которыми он восхищал немецких театралов по возвращении в Берлин. Известный тогда американский театральный критик Джон Мэзон Браун в течение долгих месяцев пребывания в Москве добросовестно и увлеченно изучал режиссерское творчество Мейерхольда. К нему ездили учиться режиссеры из Франции, Англии, Америки. В художественных журналах западных стран, в скандинавских и американских печатались о постановках Мейерхольда обширные статьи. Мы, эмигранты, о нем молчали. Для эмигрантов он был прежде всего человек, примкнувший к «ним», оставшийся в России, вместо того, чтобы уйти из России вслед за ядром русской интеллигенции, вслед за писателями, учеными, политическими и общественными деятелями и на чужбине утверждать русское искусство. В пример ему приводились Дягилев и Александр Бенуа. Еще — Шаляпин, Мясин. Сумели же эти вознести русское искусство на высоты, которых оно никогда не достигало вне России. И лишь изредка и с глазу на глаз двое знавших, помнивших Мейерхольда могли поговорить по душам, что для осуществления своих гранди-



озных замыслов, для своих гениальных дерзаний никогда не нашел бы он таких технических возможностей, таких фантастических денежных средств, какие предоставлены были ему в России.

Судьбою Мейерхольда эмиграция русская заинтересовалась, лишь когда стало известно, что он арестован и отстранен от режиссерской деятельности.

Точно так же была глуха эмиграция и к судьбе оставшегося в России, как и Ахматова, Александра Блока. И к нему тоже возник интерес, когда дошла весть о его смерти. Выступавшие на вечере в память о Блоке М. А. Алданов и молодой Набоков-Сирин в своих речах подчеркивали именно пагубное влияние большевистских вождей и на творчество, и на здоровье Блока. И несколько только робких слов сказано было о том, что духовный склад Блока, его талант не находил и не мог находить вне России отечавшего ему духовного «климата». В этом отношении он сродни был Чехову, который тоже мог писать, творить, дышать полной грудью только в России.

Никого из новых эмигрантов не чуждаясь, но и ни с кем не сближаясь, подолгу жила в те первые двадцатые годы и Горький в Берлине. Издавал при ближайшем сотрудничестве Ходасевича ежемесячник «Эпоха», вернее, альманах. Журнал выходил нерегулярно. Старался привлечь молодых даровитых и, не находя их, удовлетворялся чужими потугами на оригинальность, на смелость. Самыми интересными страницами в книжках «Эпохи» были теоретические статьи об искусстве, о литературном творчестве и критические статьи Ходасевича. Журнал отцвел, не успев расцвести. Летом 1922 года Горький жил целиком «двором» в приморском городке Герингсдорф. Жил большой своей семьей и всегда окруженный нуждавшимися не столько в его литературной, сколько материальной поддержке, заказывал переводы иностранных авторов направо и налево, и лишь малая-малая часть этих переводов увидела свет. Принимал иностранных журналистов и ис-



кавших знакомства с ним левого толка иностранных писателей и политических деятелей. «Двор» Горького в Герингсдорфе был своего рода неофициальным представительством советской власти. Поговаривали, однако, что находился он под негласной опекой верных советских людей. И надо воздать должное такту русских эмигрантов того периода. При всем несочувствии той политической позиции, на какую встал Горький, в нем чтили прежде всего прекрасного русского писателя, которого уже хорошо знала Европа и пьесы которого шли с успехом на европейских сценах. Пьеса его «На дне» в великолепной постановке Макса Рейнгаarda неизменно привлекала русских зрителей, повидавших ее и в России, в Московском Художественном театре и в провинции. С писателями, не разделявшими его идейных и личных симпатий к советским властям, Горький, однако, не сближался. Даже с близкими своими сотрудниками недавнего времени в созданном им издательстве «Всемирная литература» прежних добрых отношений не возобновлял.

Как в 1920, в 1921 годах, так и в 1922-м и позднее, в 1923 году, эмигранты чутко, жадно ловили, раздували, расцветчивали долетавшие из-за рубежа слухи о вспышках недовольства то в одной, то в другой русской губернии, чая видеть в этих вспышках близкое осуществление своих упований на близкое-близкое падение советской власти.

Эмигрантские дети ходили в немецкие школы, но дома говорили по-русски. Русская разговорная речь не пестрила еще, не искажалась еще иностранными словами. Денационализация еще не начиналась. Беженцев же прибывало всё больше и больше. Прибывали имущие, но больше малоимущие. И быстро налаживались комитеты помощи. Денежные сборы, спектакли, концерты в пользу той или другой благотворительной организации. Имели сбыт русские кустарные изделия. Русские рестораны и русские гастрономические магазины приохочивали немецких гастрономов и бойко торговали.



До поры, до времени.

Неожиданно стало известно, что на германских заводах, фабриках все чаще и чаще отказывают в приеме русским рабочим. На Германию надвигалась черная тень экономического, финансового кризиса. Марка стала падать. И поднял голову зловецкий «черный рынок». Цены на предметы первой необходимости росли не по дням, а по часам — в буквальном значении этих слов. Папиросы, масло, утром оплачивавшиеся двузначной цифрой, к вечеру нельзя было уже достать за цену втрое-вчетверо больше. Шепотом, а там все громче, все внятнее зазвучало слово «девальвация... девальвация...» У русских эмигрантов, располагавших возможностями покупать масло и кофе по астрономическим ценам и неосторожно делать кое-какие продовольственные запасы, портились отношения с соседями-немцами, не располагавшими такими возможностями. Недохватки, недовольство в стране неминуемо должны были вылиться в шумные протесты против власти, доведшей страну до нарушения ее только было наладившейся после войны приятной жизни, и одновременно — в ксенофобию. Без иностранцев было бы легче.

Глухо, тайно что-то злое, грозное уже назревало в стране. Упорно, еще незримо и неслышно уже выковывалось в недрах страны фантастически вооружавшееся наукой, вековой мудростью, внешне пленительными атрибутами блеска, дисциплины, мнимого героизма и жертвенности то жутко-иллюзорное, трагическое и в сущности своей обманчивое, что еще скромно именовалось патриотизмом и лишь несколько лет спустя вылилось в движение национал-социализма, весь мир озарившего кровавым заревом.

Становилось неуютно в недавно еще уютном Берлине. Заметно стала редеть «верхушка» эмигрантской русской интеллигенции. Из-за вздорожания бумаги и рабочих рук разорялись русские издательства. Уехали в Париж Зайцев, Ремизовы; Осоргины — в давно им близкую, почти родную Италию; уехали в Париж Алданов с молодой же-



ной — лишь за год до того он женился на своей кузине. Всех раньше уехал Андрей Левинсон, которого ждали в Париже его литературные друзья и где он скоро стал заметной фигурой в литературном мире Франции. Говорил он и писал по-французски, как француз. Труднее всего было сняться с места людям семейным и связанным делами, деловыми отношениями с немцами. Но и эти постепенно ликвидировали дела и уезжали. В Лондон, в Италию, в Швейцарию, где была какая-нибудь зацепка: родственная, дружеская или профессиональная.

Рвалась в Париж, давно мне знакомый и любимый, и я. И письма из Парижа получались зазывные, волновавшие: в Париже дышится легче, чем в какой-либо другой европейской столице. В Париже три русских типографии и русские книжные магазины. «Добудьте визу и приезжайте...»

Количество русских эмигрантов, стремившихся в Париж, было так значительно, что получить в те дни визу было дело совсем не легкое. Случилось так, что приехал к Керенскому по партийным делам его друг Владимир Осипович Фабрикант. Уже давно натурализованный, со многими видными французскими политическими деятелями хорошо знакомый и сам благожелательный, Фабрикант долго не заставил себя просить о содействии мне в получении визы. Я получила ее через две недели после его отъезда в Париж. Надо было еще добывать визу транзитную через Бельгию, надо было проститься с редакциями «Руля» и «Дней», с издателями, с друзьями. Услышать от одних добрые напутствия, от других утешительное «до скорой встречи в Париже», от иных сокрушенное «когда-то еще увидимся...»

21 сентября 1923 года я — помню живо — взбудораженная, взволнованная уезжала из Берлина и 23 сентября приехала в Париж. Впереди была новая, в новых условиях работа, новая борьба за существование, новые знакомства, новые люди... Новая жизнь... Что-то она мне даст?



Париж (Франция, 1923—1945)

Как ни странно, но русские эмигранты, вернее — тогда еще только беженцы, устраивавшиеся или уже осевшие в Берлине, почти не интересовались русской газетой, выходившей в Париже уже с 27 апреля 1920 года. Газета под скромным названием «Последние Новости», какое дал ей первый ее руководитель — в России еще известный адвокат С. М. Гольдштейн, резко отличалась от других русских газет: и размером — четыре-шесть страниц большого формата, а там и восемь страниц, — отличалась серьезностью и вескостью помещавшихся в ней статей. Ф. Родичев, барон Нольде, С. Загорский, С. Поляков-Литовцев — авторы помещавшихся в этой газете статей внушали доверие, заставляли читателя настороженно, внимательно вчитываться в каждую строку.

Уже в первых номерах «Последних Новостей» появились фельетоны Тэффи, Дон-Аминадо, воспоминания престарелого, доживавшего свой век в Лугано П. Д. Боборыкина, корреспонденции из Англии Дионео (Шкловского)... В одном из первых номеров газеты, как будто еще нащупывавшей почву, как будто еще только искавшей верных путей завоевания читательской аудитории, помещено было покаянное письмо Алексея Ник^олаевича Толстого «Как я был большевиком» — своего рода исторический документ... Алексей Ник^олаевич Толстой, как известно, уже в 1924 или в 1925 году был ревностным большевиком и до конца своей жизни покаянных писем больше не печатал.

За пределы Франции эта газета в первые годы своего существования попадала в очень ограниченном количестве экземпляров. И как далеки были руководители молодой газеты от представления о той роли, какую она впоследствии выполняла в жизни всего русского рассеяния...



В Берлине «Последние Новости» получались неаккуратно, по цене газета немногим русским эмигрантам была доступна и иных и не интересовала. Своих газет было довольно: «Руль», «Дни», а немецкие газеты давали знавшим немецкий язык обильный материал для чтения, политических споров и приятных бесед. Залетали в Берлин забавные, но робкие еще шутки Тэффи, не нашедшей еще верного тона в обращении к эмигрантскому читателю. «Кэ-фэр... фер-то — кэ...» — вложила она в уста одного растерявшегося на чужбине русского полковника... Так за сто с лишним лет до нее воскликнула m-me де Сталь, очутившись в изгнании: «Et bien, que faire...» В русском остроумном переводе Тэффи «фер-то кэ» (делать-то что?) получилось острее и трагичнее.

Той же Тэффи очень скоро открылось, что соединенные взаимным отталкиванием «ле рюссы» определенно разделяются на две категории: на продающих Россию и на спасающих Россию. Продающие ее живут весело, спасающие ее — хлопочут... И никто ничего не понимал, и меньше всего понимали этих ле рюссов иностранцы. Весело живущих мне приходилось встречать, наблюдать в Ревеле, в Берлине. В предыдущих своих очерках я писала уже о таких не унывавших вне России людях. Спасавшие Россию... Словом, «хлопотливостью» далеко не исчерпывалась их трагедия, единственная в истории всех эмиграционных групп всего мира...

Дон-Аминадо, один из первых в Париже русских эмигрантов, слагал гимны Парижу:

Париж, ты сердце отогреешь,
Ты сладость лжи в него прольешь,
Ты легким дымом голубеешь,
И ты живешь и не живешь.

.....

Ты юн, Париж, и ты весенний,
Как твой поэт, как твой народ...



Прошло немного лет, и для строф о Париже Дон-Ами-надо не мог уже не переключить свою лиру совсем на иной лад...

Когда-то, до Первой мировой войны, популярный в Москве и в русской провинции поэт Лоло (Мунштейн), автор легких забавных пародий на больших русских поэтов, прибыв с женой, бывшей актрисой Ильнарской, в Париж, тотчас почувствовал, что места ему в эмигрантской печати не найдется, и уехал с женой в Ниццу, где были у него давние друзья. Друзья и помогали ему жить, пока могли. Не стало друзей — на помощь когда-то широко жившему Лоло подоспели эмигрантские организации. Но их поддержка тоже с годами оскудевала. До затянувшейся на долгие годы нищеты и болезни, сведшей его в могилу, он успел еще печатно заверить своих бывших почитателей:

Пыль Москвы на ленте старой шляпы
Я, как символ, свято берегу...

Приехавший в конце 1920 года аптекарь из Киева привез тогда Лоло обрадовавшую его весть: «через два месяца большевизму конец...» И благодушный, доверчивый Лоло ожил на время: «...Скоро... скоро... Москва... и будет опять, как было, и пыль на старой ленте будет лишь грустным напоминанием о месяцах в изгнании», — тогда еще не годами исчислялся этот трагический, а порою и трагикомический период человеческого пребывания на чужих землях.

По попадавшим ко мне изредка номерам парижских «Последних Новостей» можно было судить, как постепенно обставляется газета — будто молодожены в новой квартире... Появляются в газете новые отделы... Статьи о французском театре, о литературных новинках. Появляются новые имена: Борис Шлецер — музыкальный, балетный критик; Е. А. Зноско-Боровский — о театре; уже много позднее посвятил себя этот талантливый человек исключительно шахматам и стал не только известным на всю



Европу шахматистом, но и автором остроумных шахматных задач и инструктором в шахматных клубах...

В газете, наконец, появляются объявления, без которых никакая газета существовать не может... Врач — родом из Симферополя — сообщает о часах приема, учительница музыки ищет уроков... Большая русская семья ищет большую удобную квартиру... Объявления эти нормальные, и ничего еще за ними не таится... Они не говорят еще о блестящем прошлом, столь далеком от тусклого настоящего, не говорят еще о горестных испытаниях, через какие пришлось перейти вдове генерала Икса — до предложения своих услуг взамен за комнату и завтрак... А там еще новость: розыски родных, знакомых объявлениями в газету. Это говорит уже о начинающейся экспансии газеты...

Алданов — подписывавшийся еще М. Ландау-Алданов, время от времени помещает в этой газете интересные очерки из далекого прошлого французской революции. К газете льнут давно завоевавшие известность русские писатели: Н. М. Минский вспоминает единственную встречу в годы ранней молодости с Тургеневым. Сватикова помещает в газете воззвание к французским женщинам — с мольбой о спасении русских женщин, погибающих в Константинополе и на Ближнем Востоке... Какой-то скептик высказывает на страницах той же газеты предположение, что гибнут в послевоенных условиях и невольных перемещениях в период эвакуации преимущественно те женщины, которые при всяких обстоятельствах обнаруживают тенденцию погибать... Кто-то возражает кому-то, анонимно утверждающему, что вина всех трагедий, обрушившихся на Россию, — одни евреи... Воспроизводится корреспонденция английского журналиста Вильсона в газету «Times», сообщившего, что Ипатьев, владелец дома в Екатеринбурге, где был убит Николай Второй, — еврейского происхождения. Вильсону возражает родной племянник екатеринбургского Ипатьева — штаб-ротмистр Ипа-

тьев, заявляющий, что Ипатьев — потомственный русский дворянин и офицер русской службы, дослужившийся до полковника.

Кто-то продает и кто-то покупает русские деньги: николаевские сторублевые билеты идут за 12—13 франц<узских> франков. Думские тысячные билеты — за 35—37 франц<узских> франков. Коллекционеры? Или еще кто-то лелеет надежду на то, что будут опять в цене и царские, и думские рубли? Леонид Галич — позднее перекочевавший из Франции в Америку, где кончил свой век, — отмечает в статье «Анатоль Франс и французы» тревожное сочувствие, с каким французы следят за ходом болезни Анат<оля> Франса. И добавляет: «В Петербурге или в Москве заболел бы Максим Горький... Большой процент русских образованных людей встретил бы болезнь Горького благочестивым пожеланием, чтобы он скорее содох». На эти строки в русской газете возражения не последовало...

И вдруг — бомба. С. Л. Поляков-Литовцев, из Берлина одним из первых перекочевавший в Париж, тотчас вошедший в состав сотрудников «Последних Новостей», в своем очередном фельетоне возымел решимость сказать: «Мы вправе оплакивать наше увечное поколение, наше изуродованное настоящее, наше личное печальное, быть может, завтра... Но что общего это имеет с завтрашней историей России, с ее длительными и вечными судьбами? Случилось одно из величайших мировых событий: всколыхнулся всероссийский океан и разметал свои громадные волны по величайшей из мировых равнин, от Крайнего Севера до Дальнего Востока» <...>

Когда стала намечаться возможность моего переезда из Берлина в Париж, я мыслями была еще далека от «Последних Новостей» и не представляла себе, какое место займет в моей жизни эта газета. Одно я знала твердо, уезжая из Берлина: сама я своих услуг «Последним Новостям» не

предложу. И про себя заносчиво: «и знакомиться с редакцией не пойду...»

Тогда, в 1923 году, я была на тридцать три года моложе, чем теперь, в 1956 году, когда пишу эти строки. Я уезжала из Берлина сотрудницей «Дней» — и даже с маленьким «фиксом», великодушно предложенным мне редакцией газеты, не располагавшей большими средствами. Кроме «фикса» (помесячного оклада) получала еще построчную плату, тоже скромную. Кое-что подрабатывала корреспонденциями в пражскую «Волю России» и статьями в «Руле». Главной же моей материальной базой была рижская газета «Сегодня», где я сотрудничала уже больше года. Газета эта, внепартийная, широко поставленная, получавшая отличную из всех стран информацию, дала мне много читателей. «Сегодня» читала вся Литва, Эстония, Латвия, ее читали в Польше... Но была она для меня тем же, чем для актера, актрисы работа в провинциальных театрах, где приходилось в прежнее время в течение одной недели выступать в разных и новых пьесах. <...>

Не помню, кем впервые сказаны столько раз читанные, слышанные слова: «Chaque homme a deux patries — la sienne — et Paris» («У каждого человека две родины: своя и Париж»). Да, вряд ли есть в мире город, где каждый приезжий, впервые ли или много раз в Париже бывавший, лишь оглядевшись, лишь подышав его воздухом, лишь постояв несколько минут на одном из его мостов над далеко не красивейшей из рек Европы Сеной, лишь подивившись столь воспетому, столь много раз описанному широкому мягкому свету, льющемуся из далекой и такой будто близкой небесной глубины, — так быстро и всем своим существом почувствовал бы себя «дома», как в Париже. И возникает это чувство в душе каждого новоприезжего прежде всего от ощущения полной свободы, от уверенности, что вас никто не наблюдает, никто не разглядывает критическим взглядом ваш наряд, ваши манеры, поход-



ку... И если есть что в новоприезжем человеке очень уже резко выделяющее его из ряда или группы других человеческих фигур, то в силу врожденного, выработавшегося веками такта любопытство или интерес к новому человеку никогда не проявляется во взглядах, восклицаниях, мимике, движениях, какие могли бы смутить или уязвить... И даже не зная языка этой страны или плохо владея французским языком, новоприезжий тотчас находит общий язык с вчера еще чужими ему людьми... В этом непревзойденная прелесть Парижа, в этом покоряющее волшебство вековой старой культуры. Мне, знавшей Париж по прежним поездкам и французским языком владевшей с детства, — легче было, чем многим другим, освоиться тотчас с духовным «климатом» Парижа. Но уже не с первых даже дней, а с первых часов я почувствовала какую-то перемену в заметно обновившейся и похорошевшей после Первой мировой войны столице Франции. До этого моего приезда в сентябре 1923 года я была в Париже двое суток, проездом из Петербурга в Швейцарию. Стояли тогда тревожные, душные августовские дни 1915 года. Париж был неряшлив, неубран, улицы казались неделями неметеными. Днем и ночью гудели сирены. Над городом летали германские «Берты», и так много было траурных вуалей, белых косынок гражданских сестер и туго накрахмаленных головных уборов сестер-монахинь, и галифе, галифе... В пыльном воздухе стоял немолчный визг маленьких «камло» — звонкоголосых мальчиков-газетчиков... Газеты выходили десятками выпусков в день...

Но Париж 1923 года не был уже таким беспечно-веселым, таким привораживавшим приветливостью, каким был до войны 1914—1918 гг., и не был еще таким по-иному оживленным, таким духовно-насыщенным, каким стал позднее, «перетерпев судеб удары»... В 1923 году были уже в Париже «на потребу русских эмигрантов» русские гастрономические магазины, правда в скромном еще количестве, и русские книжные магазины... Один из них,



«Родник», был как бы негласным органом пропаганды эсеровских изданий и по давним партийным связям — д-ра И. Н. Коварского и его жены Лидии Антоновны — близок к берлинским «Дням» — газете Керенского, как и к «Современным Запискам» с Бунаковым-Фундаминским, Зензиновым, Рудневым, Вишняком и Гуковским во главе...

В «Родник» ходили не только покупать книги и газеты, но и для встречи с тем или другим писателем, с тем или другим партийным товарищем... Несколько позднее, когда из Берлина «Дни» перекочевали в Париж, редакция первое время ютилась в том же тесном помещении «Родника». В глубине небольшой квартиры, на узком диванчике, одно время и спал Керенский... К тому же и двухэтажный домик этот на rue Vineuse за номером 9 легче было охранять от праздно-любопытных и зложелательных посетителей... И все же в период пребывания Керенского в этом доме найден был в одно утро на лестнице какой-то подозрительный, оказавшийся взрывчатым снаряд — чудом никому не причинивший вреда... «Родник» с первого дня знакомства с его хозяевами стал для меня, как и для многих других, ценным на чужбине оплотом... «Родник» был и негласным осведомительным бюро для нуждавшихся в осведомлениях новых людей, близких к эмигрантской интеллигенции, — неофициальным адресным столом и еще чем-то вроде странноприимного дома, где только ночевать нельзя было... Но приходивший туда уходил чем-то утешенный, чем-то обрадованный. В этом доме, как в доме одной из героинь Гончарова, «всегда стояла ясная погода»...

Я приступила к работе... Что бы такое послать «Дням» в Берлин... Что-нибудь злободневное? Но злободневное — отношение французов к русским — было так сложно (об этом речь будет впереди), что подходить к этой теме надо было с большой осторожностью и лишь хорошо оглядевшись и присмотревшись к этой новой, после войны



изменившейся парижской жизни. И я остановилась на теме нейтральной: поеду в Буживаль, где жил Тургенев с семьей Виардо, осмотрю дом и сохранившиеся о Тургеневе вещественные реминисценции и постараюсь сделать мою первую корреспонденцию занятой...

Поехала. Ехать было недалеко, но все же около сорока минут. Мимо уютных пригородов, мимо Мальмезона, где жила и должна была скорбеть, но не скорбела, а жила в полное свое удовольствие и весело Жозефина, отверженная, многолюбимая Наполеоном...

У первого газетного киоска в Буживале я спросила у продавщицы газет, у двух клиентов, покупавших газеты, не могут ли они мне указать кратчайший путь к дому, где жил Тургенев. — Кто такой? Адвокат? Врач? Быть может, антиквар? — Нет, нет, ни то, ни другое, ни третье... Просто известный писатель... С семьей известной певицы Виардо жил здесь... Газетчица, ее клиенты нетерпеливо от меня отмахнулись. И я пошла спрашивать дальше. У одного, другого полицейского с белым стэком, управлявшего движением на улице. Эти тоже никаких указаний мне дать не могли. Но один из них посоветовал — если действительно жил тут такой писатель — спросить в книжном магазине... В книжном магазине две бойких говорливых продавщицы, перебивая друг друга, объяснили мне, что такой дом действительно есть, но я как иностранка, очевидно, неверно произношу его фамилию... Не Тургенев — а Трубецкой... И что надо идти направо, потом первой улицей налево, перейти небольшую площадь и длинной платановой аллеей — прямо, прямо — до этого дома, какой я искала... Я пошла, как меня наставляли, и пришла в прелестную деревушку — теперь уже городок — Лувесьенн. Лишь увидав на пограничном столбе, отмечавшем начало другой коммуны, название «Лувесьенн», я вспомнила... Вот тоже тема для фельетона: здесь жила, и как весело, лихо жила, королевская фаворитка, маркиза Дюбарри, так горестно молившая палача, занес-



шего над нею нож: «Еще пять минут... еще пять минут...», и о чем так слезно вспоминал один из героев Достоевского Фердыщенко (в «Идиоте») <...>

Я дернула железное кольцо звонка. Дернула другой, третий раз. Без лая проковыляла старая лохматая дворняга и за нею высокий, худой, как жердь, желтолицый, болезненного вида человек, и не успела я досказать, зачем побеспокоила его, — он учтиво, толково объяснил мне, что «да, это, как он слышал, действительно дом, где жила когда-то знаменитая Виардо и друг их дома, какой-то богатый русский помещик... Но дом уже много лет принадлежит суконному фабриканту Сабатье, который в отъезде... И все равно ничего интересного не мог бы мне показать. Все давно вывезено было прежними владельцами...» Что-то, очевидно, прочитав на моем лице, что тронуло его сердце, он открыл ворота, подвел меня к скамье под высоким ясенем и пояснил: «Вот на этой скамье, под этим деревом, я слышал, любил сидеть этот русский барин... Потому и названа усадьба «Ясени» (Les frenes)». Скамья была совсем новая, и еще не совсем просохшая зеленая краска не говорила о столетней давности. Я сделала вид, что поверила, поблагодарила и ушла.

Дня два-три после получения в Париже номера «Дней» с моим фельетоном «Буживаль» получила я письмо от А. А. Полякова, главного тогда помощника редактора «Последних Новостей». Письмо было краткое. «Когда будете в наших краях, не заглянете ли к нам, в редакцию «Последних Новостей». Приятно будет с вами познакомиться...»

Редакция «Последних Новостей» помещалась тогда на rue d'Anjou в доме за номером 22. В хорошем, правда, квартале, близ площади Мадлен — но какое это было убогое, жалкое помещение! Вход прямо с улицы, как в лавчонку какую-то. Одна и вторая неудобные, неряшливые комнаты.



Из-за столика в одном углу поднялся и пошел навстречу мне высокий, узкий человек с совершенно безволосой розоватой головой.

— Не узнаете меня?

— Нет, не узнаю...

— Я был «выпускающим» в «Биржевых Ведомостях», когда вы там, недолго, правда, переводили телеграммы с фронта...

Подошел и другой, тоже обойденный растительностью на голове — полный розовощекий господин.

— А меня узнаете?

— Нет, не узнаю...

— Я бывал у вас в Петербурге на Коломенской, когда у вас жила ваша сестра-медичка... Калишевич моя фамилия...

Я вспомнила. Калишевич была фамилия городского головы в Каменце-Подольском, где сестра моя проходила гимназический курс и дружила с дочерьми и сыном городского головы. Калишевич Николай Викторович скоро стал одним из самых ценимых редакцией сотрудников «Последних Новостей». Его фельетоны на литературные, исторические темы за подписью Р. Словоцов поднимали тираж газеты.

А. А. Поляков без предисловий поставил мне деловой, твердо изложенный вопрос: «Желаете сотрудничать у нас? Павел Николаевич поручил мне пригласить вас...» И, не выждав моего ответа: «Вы никакими обстоятельствами не связаны?» Я никакими обстоятельствами, как казалось мне, не была связана. Предложение сотрудничать в «Последних Новостях» польстило мне.

— А чем я могу быть полезна газете?

И к немалому моему изумлению услышала в ответ: «Вот, давайте нам такие фельетоны, как “Буживаль”, что поместили в “Днях”».

— Но ведь это случайность... Я могла бы давать статьи об иностранной литературе... Рассказ время от времени...



— У нас этих отделов нет...

— Вы не намерены их ввести?

— Об этом поговорите, хотя бы завтра, с «папашей»... — и тотчас пояснил, — это Павел Николаевич у нас так называется...

Через два дня я пришла вторично, и Милоков, благодушный, свежий, оживленный, принял меня в крохотной комнатенке, отделенной от первой тонкой дощатой с широкими щелями перегородкой. Сосновый столик, два деревянных стула... Но я не замечала убожества этого редакционного кабинета. И он сам чувствовал, вероятно, как мало отвечает его положению этот жалкий угол. Так же свободно, просто держал он себя позднее в отлично обставленном кабинете, в большой светлой редакционной квартире, сидя не на деревянном стуле, а в глубоком изящном кресле, и так же был равнодушен и к комфорту, и к удобствам.

Знакомство мое с редакцией «Последних Новостей» имело место во второй половине сентября 1923 года, но лишь в ноябре я набрела на тему, показавшуюся мне интересной для газеты: 80-летний юбилей Е. Д. Брешко-Брешковской, который собирались праздновать пражские эсеры. Я озаглавила свою статью «Heroine». В день появления ее в газете встретил меня на улице, в нескольких шагах от «Родника», старый великолепный, всеми любимый эсер О. Минор и, широко распахнув руки, обнял меня и, к великому моему смущению, звонко расцеловал. Так произошло мое посвящение в сотрудницы «Последних Новостей».

С двумя карточками — Cartes de Press — одна за подписью Керенского, другая за подписью Милокова, я могла уже, не робея, пойти в любое французское издательство и попросить ту или другую новую книгу «для отзыва». По тому, как встречали, как охотно давали книги, а там и стали посылать на дом новые книги, можно было су-



дить не только о доброжелательстве, о готовности облегчить чужеземной журналистке ее работу, но и об интересе к русской эмигрантской печати. Издатели, авторы книг, посылавшие мне впоследствии свои книги с дружескими посвящениями, полагали, по-видимому, что оцененная, нахваленная в русской газете книга найдет покупателей и, что, впрочем, и случалось, хотя и не очень часто, — даже переводчика и русского издателя. Так было с книгой Эдуарда Эррио «Нормандский лес». Моей искренне восторженной статьей об этой великолепной книге заинтересовалось русское пражское издательство... И часть этой большой книги, посвященная героине Великой французской революции Шарлотте Кордэ, убийце Марата, переведенная мною для «Воли России», выходившей уже не ежедневной газетой, а ежемесячным журналом, была в оправлении великолепного художественного переплета послана Эррио. Это укрепило его давнее расположение к руководителям эсеровского журнала, а меня, переводчицу, он поблагодарил ласковым благодарственным словом...

Эдуард Эррио — и в бытность свою председателем парламента, и на посту министра — вообще охотно писал письма русским эмигрантам. Красовалась всегда на этих кратких, очень любезных письмах, написанных на машинке, — только его крупными буквами выведенная подпись. Говорили, что она зафиксирована на сотнях, тысячах заготовленных на такие случаи листках почтовой бумаги, с печатным заголовком его министерского кабинета. И всегда эти письма Эррио доставляли удовольствие получателям, но я не знаю случая, когда бы обращавшийся к нему русский эмигрант — за реальной помощью — получал от него такую помощь.

Русских беженцев прибывало во Францию все больше и больше. Осколки разных армий — Добровольческой, Врангелевской, Дроздовцы, казаки... Быстро возникали комитеты, ведшие «дела», то есть хлопоты по устройству тех или других беженских, военных, экс-военных групп...



И скоро стало известным, что успешнее всех, энергичнее и надежнее всех устраиваются «люди от сохи». Непогрешимым чутьем прирожденных хлеборобов разузнавали, что надо было им знать. Заарендовали — по-симбирски, по-украински, — стали сеять, сажать, полоть... Стали скоро выращивать злаки и с целью показать иностранцам «на что способны»... В специальных печатных органах появились заметки о русских хлеборобах, а там и на сельскохозяйственных выставках не постыдились показаться со своими экспонатами. Казаки, «севшие на землю» под Тулузой, хохлы — на юге Франции стали получать премии на сельскохозяйственных выставках. Обзаводились живым инвентарем; кто не был женат — и женой обзаводился. И жены были француженки, и не очень многие задумывались еще тогда, чем и кем будут их дети... На эти еще не оформленные вопросы ответила пятнадцать-шестнадцать лет спустя Вторая мировая война...

Приезжавшие из Ниццы, из Канн рассказывали, что на всем побережье французской Ривьеры, где еще задолго до Первой мировой войны десятки великолепных вилл и сотни менее великолепных, но комфортабельных красивых дач принадлежали русским — великим князьям, петербургской знати, богатым москвичам, — большие произошли перемены. Самые большие, самые богатые виллы, носившие русские названия, превращены в отели. На других, поменьше, поскромнее — где дощечка, извецающая, что продается или сдается в долгосрочную аренду, а на дверях иных дач — блестящие медные дощечки с выгравированными на них именами — не русскими и не французскими. Американскими и экзотическими. Куда же делось, что стало с прежними владельцами за каких-нибудь десять, двенадцать лет с начала Первой мировой войны?

Жизнеописания их были удивительно однообразны. Одних уж нет, а те далече... В грандиозной склоке погибли многие, а сумевшие уехать целыми и невредимыми из России не могли вывезти сумм, каких хватило бы на дол-



гие годы, а главное — бюджет каждой семьи или супружеской пары и даже одиноких людей не пополнялся доходами с имений, домов или жалованьем. И люди постепенно «выходили в расход», как сами говорили о себе, кто с искренней горечью, кто с наигранным цинизмом равнодушия. Носители громких русских имен, титулов, в прошлом — сановники, адмиралы, генералы — уже не гнушались местом ночного сторожа в гараже. При знании языков и представительной наружности приглашались в метрдотели в дорогих ресторанах, заведующими баром при дорогих отелях. Кто бережливее, практичнее был — входил в какое-нибудь увеселительное предприятие с французом. Светские дамы — обладательницы достойной наружности и хороших манер — еще легко получали места в больших модных домах — Maisons de Haute Couture, — в «институтах красоты», в парфюмерных магазинах... И эти не падали духом. Верили, заверяли иностранцев, что близок день, и вернуться они туда, откуда вынуждены были уехать, и все будет, как было... В Париже русские эмигранты не так твердо уверены были в близости желанного дня возвращения к тому, что было...

В Париже рассказывали и осторожно пописывали о том, что осевшие на юге Франции носители громких, полновесных в свое время имен заблаговременно распределяют между собою ответственные места, должности, с которых были сняты волею рока люди, до войны стоявшие во главе разных учреждений, правлений, ведомств... «Сидят на чемоданах», — горько иронизировали над ними не разделявшие их оптимистических наивных упований русские парижане.

Заинтересовала меня вывеска над дверью: «НОСО-РОГ» — русскими буквами, белыми по ярко-синему фону. Верхняя застекленная половина двери изнутри завешена белой кисейной занавеской. Почти рядом с дверью — окно с низким внутренним подоконником. Очевидно, сре-



зано под витрину. В небольшой фаянсовой миске несколько помидоров и несколько зеленых огурчиков. Таких маленьких огурчиков во французских зеленых лавках нет. Их научились выращивать на чужой земле русские огородники и любители-дилетанты. Рядом — черный хлебец и белая фарфоровая баночка с наклейкой: «ХРЕН». Тоже по-русски. «Гордый взор иноплеменный» и не разберет, и не поймет, что в этой аптечного вида баночке. Вхожу... Ресторан средней руки. Перед дверью половик и к косяку притулен картонный небольшой квадрат с крупными черными буквами: «Просьба! Вытирайте, пожалуйста, ноги». Пол не паркетный, не наощенный, но вымыт чисто.

Усаживаюсь. Заняты уже несколько столиков. И каждый столик здесь — явление, каждый тыкающий никелевой вилкой в картофельную котлету или хлебающий борщ — эпоха.

Вваливается, шаркая истоптанными башмаками, рыхлый серый человек, ласково улыбаясь направо и налево. И — борода! Мгновенно переносит она память в — не Ленинград, не Петроград и даже не в Петербург, а в Санкт-Петербург, на Невский проспект, в морозный день, когда по мерзлому снегу так звонко было цоканье копыт и так лихо звучали окрики толстых кучеров в огромных меховых шапках с голубыми бархатными донниками. А в снях, вперив очи в даль, сидел вот этот самый человек, ехавший «с докладом», и с этой самой расчесанной на два прямых треугольника бородою. Чего только не растерял, но бороду довел-таки до русского ресторана в Париже с желтоватыми пахнущими мылом скатерками на некрашенных столиках.

— Добрый день, ваше превосходительство...

«Его превосходительство», кивая головой точь-в-точь, как некогда «там», в своем ведомстве, следует к своему столику, у которого тотчас появляется приятной внешности опрятно одетая подавальщица. Она не «мадемуазель», она Елена Георгиевна, и его превосходительство, прежде



чем взглянуть на меню — выведено оно пером на листке дешевой бумаги, — целует у нее руку, осведомляется, как она изволила почивать и приходил ли уже князь У. Потом заказывает картофель в мундире и простоквашу, поясняя, что решил посидеть на диете несколько дней. Елена Георгиевна сочувственно качает головой и наклоняется к нему:

— Ну, зачем... Сегодня заведующего нет... Можно опять в кредит...

Его превосходительство, не возражая, отказывается от диеты и заказывает гороховый суп и свиную котлетку с салатом из печеной свеклы.

Ни на кого не глядя и не видя никого, двигается от входных дверей очень уже немолодая, сухощавая высокая женщина. Сколько лет ее темно-лиловой кофте, какие виды видывало ее плоскодонное, черное нечто, изображающее шляпку на ее голове, — об этом лучше не делать догадок. У нее тонкие черты лица, губы красивого рисунка — синевато-бледные. Глаза, вероятно, когда-то голубые, превратились в неопределенного цвета узкие щелчки. Женщина тихо осведомляется у Елены Георгиевны — «есть ли сегодня макароны?» Слово «макароны» — уже в конце фразы, пониженным шепотом, и за соседними столиками получается впечатление о скромной — из деликатности — справке о редком и не всем доступном блюде.

Дальше... За столиком посредине комнаты меланхолично ест симпатичной, интеллигентной наружности господин с частой проседью в гладко зачесанных назад волосах. В железнодорожном русском буфете, в трамвае, в библиотеке без усилий можно было бы признать в нем неудачливого писателя, или учителя словесности в провинциальной гимназии, или земского статистика. Здесь, в парижском русском ресторане с зоологическим названием «Носорог», Елена Георгиевна обращается к нему: «Ватрушку, полковник, хотите?»

А новопришедшая дама, ловко — для дневного света — загримированная, ловко одетая, поравнявшись с его



столиком, пожурила его и не очень мягко: «Что же не изволили прийти вчера в “Крокодил”? Пришлось мной да еще гитаристом ваши номера заменить...» На что он — танцор, имитатор, куплетист? — мягким задушевым баритоном ответил: «Не мог, баронесса. Клиент хороший попался. Целую квартиру заново оклеивал...»

От одного, другого столика долетают обрывки фраз: — «“Черный лебедь” — в трубу вылетел...» — «Сняли подвал под “Жаворонка” — американский бар будет...» — «Переманили из “Кинешмы”. — Что-то сногшибательное будет...» — «“Кенгуру” — будет называться...»

Елена Георгиевна подает, подает, уносит грязные тарелки и, проходя мимо дамы, шепотом заказывавшей макароны, что-то шепчет ей на ухо. Но дама плохо слышит, и ей приходится повторить уже так, что за другими соседними столиками слышно: «Эта американка — она даже не американка, а просто дрянь, — согласна купить ваш медальон. Придет к вам сегодня...» По крови, разлившейся по впалым щекам любительницы макарон, по ее задрожавшим рукам не трудно было догадаться, как важно ей продать этот медальон и как горестно расставаться с этим медальоном...

Тридцать пять минут всего просидела я за своим столиком в этом «НОСОРОГЕ» — а как просветилась...

Такова была картина русского рестораника в 1925 году. В 1930 году уже не то. Ресторан «прогорел» — и в витрине вместо русских огурчиков и черного хлеба появились голубые, розовые, оранжевые блузки и детские платица — и вывеска, ярко-желтая, указывала на то, что русский «Носорог» превратился во французскую красильню. Бывали случаи, и нередкие, что такой вот скромный «Носорог» преобразался в тесно заставленную всякими русскими соблазнительными гастрономическими специальностями лавку, и три-четыре человека в белых накрахмаленных фартуках едва успевали обслуживать покупателей, и за прилавком, за кассой, сидел сам хозяин или его



жена, — и знавшие их покупатели, выходя из лавки, обменивались впечатлениями: «Ну и разнесло же их... Дом купил на Луаре, автомобиль завел...» Или: «Ох, уж эти о России, наверно, не тоскуют... Да и некогда им... Не до "сантиментов" — когда текущий счет растет не по дням, а по часам... Вот дочь за француза выдает — приданого ей миллион...» Да, контингент русских людей, находивших, что и вне России можно очень неплохо жить, рос с каждым годом...

Русская газета, во главе которой стоял человек такого духовного склада, как П. Н. Милюков, так тесно связанный со всеми представителями русской интеллигенции, какими бы политическими оттенками ни отличались они друг от друга, должна была очень осторожно и без полемического задора отмечать нараставшее в русской литературной эмиграции отчуждение от русской, от советской литературы...

Писатели, поэты, носители громких имен, имевших в России огромные читательские аудитории, приехали в Берлин, потом в Париж с глубоко вошедшей в их сознание убежденностью, что «русская литература — это мы». Эти писатели были слепы и глухи к той новизне, которая уже шла из России. Но не желали признавать и естественность, закономерность новой поросли, какая всходила и в таких неблагоприятных для художественного творчества условиях, какими для них оказалась чужбина. Произведения молодых советских писателей, беллетристов и поэтов, изредка еще попадавшие в Париж, встречались чуть ли не улюлюканьем, насмешками. В творчестве Пастернака, которого в конце концов и эмигрантская критика в лице Адамовича, Ходасевича, Ульянова признала талантливейшим русским поэтом, Тэффи, не сделав даже усилия вчитаться в поэмы, стихи Пастернака, выудила только «Кряк, кряк, фырк...» К грубому неблагозвучию свела она поэзию многоодаренного молодого поэта...



Бунин, Шмелев, Гиппиус с Мережковским предсказывали русской литературе неизбежную гибель. И не только потому, что она была советской, а потому, что она пошла новыми путями, и потому, что авторы романов, повестей, рассказов в стране, пережившей только что грандиозную апокалиптическую бурю, не могли уже останавливаться на сюжетах, какие волновали ушедших из России писателей, имевших к тому же возможность мастерски и тонко разрабатывать их. Жизнь там, на родине, пошла другим темпом, новый ритм жизни не мог не отразиться не только на темах, но и на их внешнем оформлении.

Для Антона Крайнего (Зинаиды Гиппиус) приятие новой русской литературы означало бы примирение с большевиками, и она «простодушно» предлагала:

Не надо к мести зовов и криков ликованья:
веревку уготовив, повесим их в молчаньи...

Еще непримиримее, пожалуй, был Бунин ко всякой литературной новизне. Он просто брезгливо отворачивался от всякой новой книги советского автора, от всякой книжки нового журнала, выходившего в России или даже здесь, вне России, но по новой орфографии. Да, было время, когда оторванные, оторвавшиеся от родины русские люди новую орфографию отождествляли с советской властью. И «твердый знак», и букву «ять» охраняли, удерживали, как религиозные реликвии. С профессиональным, но очень осторожным сочувствием относился Бунин к оставшимся в России писателям, а осталось их тоже немало. Ахматова, Сологуб, Брюсов, Волошин, Пришвин, Вс. Иванов, Сергеев-Ценский и многие другие. Иных уж нет, а те далеке. И упоминаем мы эти имена с таким же чувством, с каким смотрим, слушаем пьесу, дальнейшее развитие и эпилог которой нам уже известны.

Русские писатели в Париже облюбовали два соседних квартала — Пасси и Отей, и от центра несколько далеких, и к Булонскому лесу, к Сене довольно близких. И это



не преминул отметить французский писатель Поль Моран, к русским эмигрантам не очень расположенный. «Странно, — писал он в одной из своих статей, — русские эмигранты — люди как-будто малоимущие, а лучшие в отношении гигиеническом кварталы чуть ли не аннексировали».

Это не совсем отвечало действительности. Большинство русских эмигрантов в Париже размещались в 15-м квартале, отнюдь не живописном и не элегантном, и вокруг Площади Италии, и еще дальше от центра. Но русских обитателей этих кварталов, эмигрантскую рабочую бедноту Поль Моран не мог знать. Он знал эмигрантов по именам, изредка мелькавшим на столбцах французских газет, знал Шаляпина и Дягилева по их еще дореволюционным выступлениям в Париже.

В кафе Мюра, на углу бульвара Мюра и широкой площади, совсем близкой от Булонского леса, по пятницам стали собираться русские писатели. Не все, конечно, но группа из десяти-двенадцати человек, еще не успевших перессориться между собою. В одну из пятниц в этом кафе состоялась знаменательная встреча Бунина с его давним другом Алексеем Николаевичем Толстым — ко времени этой встречи занявшим уже прочное положение в Советской России.

Толстой, годами моложе Бунина, боясь нарваться на резкий выпад со стороны Бунина, из угла, где сидел со своей женой, послал Бунину в другой угол зала записку: «Вспрыснем, что ли, неожиданную встречу... Я здесь проездом». Бунин в ответ только кивнул головой. И первым встал из-за своего столика Толстой. Бунин пошел ему навстречу, и, к немалому удивлению очевидцев, громадный, широкоплечий Толстой заключил его в свои объятия. Расцеловались. Шампанское заказывал и оплатил Толстой. Щекотливых вопросов не касались. Вспоминали казавшееся уже таким далеким недавнее прошлое и расстались



дружелюбно. Это не помешало Толстому по возвращении в Россию зло вышутить Бунина.

И это тоже не помешало интересу советского читателя к зарубежному писателю Бунину. Его стихи, отрывки из лучших его произведений входили в советские антологии, а в самое последнее время, уже в наши дни, его книги издаются в России в несметных количествах экземпляров...

П. Н. Милоков давал в своей газете место резким, порою грубым до непристойности выпадам Бунина и Гиппиус против советской литературы, но помещал и статьи Кусковой, Осоргина, Даманской, имевших смелость отмечать отрадную новизну в произведениях советских писателей — у Шолохова («Тихий Дон» Шолохова скоро стал самой распространенной в эмиграции книгой), Лавренева, Юрия Германа, Артема Веселого, Малашкина и других. Отмечались на страницах «Последних Новостей» и первые многообещающие опыты некоторых молодых эмигрантских писателей. В самые последние годы старые эмигрантские писатели обратили внимание на советского писателя Константина Паустовского. Известно стало, что и Бунин, и Зайцев написали ему приветственные лестные письма. А было это еще при Сталине и Берии и вряд ли оказало ему своим сочувствием, своей оценкой его прелестных книг большую услугу.

П. Н. Милоков и сам время от времени выступал литературным критиком в своей газете. Строгим, но справедливым; требовательным, но убедительно мотивировавшим свои требования. Обличая порнографический элемент в «Распаде атома» Георгия Иванова, отмечал и даровитость автора, и богатство его литературной речи. Укоряя молодую еще тогда, только начинавшую печататься Ирину Одоевцеву в излишней игривости и слишком смелом жонглировании вопросами эротике, он в то же время выражал свое сожаление по поводу легкомысленного отношения молодой писательницы к данному ей судьбою дарованию.



Только благодаря политической дальновидности и такту П. Н. Милокова среди все расширявшегося круга читателей газеты «Последние Новости» возникала переоценка суждений о «местной» литературе и о советской. Если еще в 1920—1923 гг. утверждали, что подлинная русская литература здесь, «у нас», а в России оставшиеся писатели наперечет, то уже в 1925 и в дальнейшие годы внимательные читатели стали убеждаться в том, что именно здесь, «у нас» — подлинны писатели наперечет, а большая, широкая литература, растущая, пополняющаяся все новыми именами, оказалась именно в России.

Старшие, давно признанные эмигрантские писатели ставили на вид начинающим русским писателям то, что темы их произведений не русские. На что один из «подававших надежды» и, увы, их не оправдавший, Евангулов, убедительно ответил печатным письмом: «Откуда же нам брать русские темы... Вы уехали из России с запасом наблюдений, с богатым грузом воспоминаний. Всего этого у нас, выросших здесь, нет и не могло быть».

Но такое же суждение было у приехавшей в Париж советской писательницы Лидии Сейфуллиной — не о молодых только, но о начинающих, но и о писателях старшего поколения. Сейфуллина, сама прекрасная писательница (и ее нет уже в живых), ознакомившись с последними в то время произведениями Куприна, Зайцева, нашла, что «очень хорошо пишут, но это для нас, для русских читателей — уже иностранцы, и для нас не интересны...» Чутьем даровитой писательницы она не могла не отметить также, что темы, взятые русскими писателями из жизни вне России, все же писателями той страны, где живут русские эмигранты, были бы как-то иначе, и ярче, и убедительнее использованы...

Дальше мы остановимся на причинах медленного, но несомненного оскудения эмигрантской литературы, на той эмигрантской действительности, в тесных пределах которой созревало и отцвело, не успевши расцвести, преслову-



тое «незамеченное поколение», которому в наши дни, <в> 1955—1956 гг., посвящено было столько печатных страниц и в журналах, и в газетах.

Эмигрантская жизнь — и не только в больших столичных центрах и независимо от явлений литературных, художественных — развивалась тем временем на разных аренах, в разных масштабах. Русские школы — искали и находили учителей и учительниц. Русский Красный Крест — искал и находил медицинский персонал. Не только давно осевшие, учившиеся в Париже врачи, но и из новых эмигрантов врачи быстро завоевывали клиентуру и право помещать своих больных во французских больницах, преимущественно в хирургических клиниках. Для того чтобы получить право практики, русские врачи в большинстве случаев одолевали не только экзамены по своей медицинской специальности; чтобы быть допущенными к этим экзаменам, они должны были представить свидетельства о пройденном гимназическом курсе, соответствующие русскому аттестату зрелости. И одолевали французскую грамматику, держали экзамены по алгебре, арифметике, геометрии и проч. Коллеги-экзаменаторы были, конечно, не требовательны, скорее снисходительны к бородастым и даже с сединою на висках экзаменовавшимся. Но были и такие, что не находили в себе ни решимости, ни просто физических сил засесть за грамматику и учебники по минералогии и физике, и если не умудрялись как-то обходить закон, то все же находили пациентов. Среди русских же земляков. А там — объединялись. Общество русских врачей. Общество русских адвокатов. Объединение русских инженеров... Среди последних было много учившихся еще до революции в бельгийских, германских, во французских специальных школах, и эти легче других находили себе места...

Русские шоферы. Их скоро, и как скоро, развелось так много и так скоро завоевали они клиентов — не только случайных, что и они не могли не объединиться и не выра-



ботать свой статут обязанностей, статут чести и прав, которые ставили себе целью отвоевать. И так как большинство, преобладающее большинство русских шоферов были в прошлом офицерами, людьми разных либеральных профессий, то и по внешнему облику, манерам, учтивости они отличались от французских простоватых, малоинтеллигентных шоферов-профессионалов. Французов не могли не удивлять такие, например, картинки: останавливается у подъезда такси, из которого выходит нарядная дама, возвращающаяся из театра, концерта или званого вечера. Одновременно сходит со своего места у руля и одетый по-шоферски шофер, галантно целует у дамы руку и, получив сколько причитается ему по счетчику, ждет (не садится опять за руль), пока не откроется перед дамой дверь. Мне пришлось не раз быть свидетельницей игривого недоумения, с каким проходившие мимо французы наблюдали такие сценки. А объяснялось это очень просто. Шофер оказался знакомым дамы в нарядном платье, или дама, узнав в нем русского по акценту, разговорилась с ним...

На объявленном парижским муниципалитетом «конкурсе» на звание отменно учтивых и корректных шоферов самыми учтивыми и самыми корректными признаны были русские. Это было. Русские шоферы — бывшие гвардейские пленители дамских сердец и лихие кутилы — свыкались с новым *gagner sa vie* (дававшим хлеб заработком), добивались натурализации, становились полноправными французскими гражданами, и слова профессионального устава — о шоферских обязанностях, правах стоянки, сигнализации — входили в домашний обиход. И детишки русских шоферов, забавно искажая французские технические слова, играли в шоферов и ажанов (полицейских), штрафовавших за то или иное нарушение устава.

Дети русских эмигрантов учились во французских коммунальных школах, в лицеях, начинали плохо говорить по-русски, приносили — за малыми исключениями — отличные оценки и, усваивая замашки французских школь-



ников, втягиваясь в их интересы, незаметно как будто, а там все заметнее отдалялись от своих родителей, теток, дядей и скучали, слушая их сетования, их брюзжанье, их раздраженные, подчас страстные споры о том, что напечатано в газете Милюкова или в газете Керенского «Дни», в 1925 году перекочевавшей из Берлина в Париж, и в газете Гукасова «Возрождение», где из номера в номер поругивали и Милюкова, и Керенского.

Длинная серия небольших прелестных фельетонов Дон-Аминадо о «Коле Сыроежкине» — драчуне, озорнике, с пальцами в чернилах, с ссадинами на коленях, с наглым равнодушием внимающим одним и тем же речам дома за обеденным, чайным столом, уже в двадцатых годах эмигрантской нашей жизни отмечала нарождавшийся тип будущего отщепенца, неприкаянного, «человека, потерявшего свою тень», — героя Шамиссо.

В Берлине в 20-е годы нашего века могила Шамиссо на берлинском кладбище часто посещалась русскими эмигрантами или русскими беженцами. Перед многими из нас тогда уже вставал вопрос: где наша родина? Страна, из которой мы вышли, или страна, куда мы ушли? Из биографии Шамиссо известно, что *mon* де Сталь, у которой он гостил в замке Шомон на Луаре, укоряла его в неблагодарности: «Создатель дал вам две родины, и Германию, и Францию. Что мог Он больше сделать для вас?» На что он горестно и страстно ответил: «Две родины... Я был бы счастлив, если бы у меня была только одна». Скольким русским эмигрантам дано было пройти жизненный путь Шамиссо, духовного отца Петра Шлемиля, «человека, потерявшего свою тень»?

Шамиссо, увезенный родителями из Франции в год террора (1792) десятилетним ребенком, учившийся в Германии, полюбивший «страну мыслителей и поэтов» — тогдашнюю Германию, изъяснявшийся свободно по-немецки, но еще в двадцать лет писавший по-немецки, как иностранец, Шамиссо не переставал чувствовать себя



французом, особенно в моменты, когда обострялись отношения между Германией и Францией и от каждого эмигранта требовалась решимость высказаться за свою страну или против нее.

Во французских школах русские дети слышали от французских ровесников, что Россия — страна дикарей, полудикарей, что там ни в чем не повинных людей режут, расстреливают, вешают, что дети ничему не учатся, и много, много таких, которые не знают даже, что такое шоколад и апельсин.

В какой-то газете напечатано было, другими газетами был подхвачен и расцвечен близкий, вероятно, к действительности случай, когда больной русский ребенок просил шоколада, а шоколад в первые послереволюционные годы трудно было достать в русских городах. И просил еще этот ребенок, умирая, апельсина — и апельсинов тогда ни в Петербурге, ни в Москве не было. Привоза не было. <...>

Много граничивших с трагизмом впечатлений пришлось пережить в те двадцатые годы детям приехавших из России и нашедших приют в свободной Франции. В 1926 или в 1925 году заговорили в Париже об одном маленьком «вундеркинде» — Павлике Макановицком. Случилось так, что мы с ним и его матерью оказались соседями-жильцами одного русского пансиона. Мальчик был исключительно даровит, умный и привлекательный. Слушать его, не только исполнение доступных его шестилетнему возрасту пьес, но даже гамм и всяких скрипичных экзерсисов, было одно наслаждение. Русские, очень правого толка, хозяева пансиона и жильцы — все люди русские были, очень любили этого мальчика и его мать, тихую, ласковую женщину.

Был в этом скромном пансионе со скромно обставленными комнатами большой светлый холл, в котором раз в месяц, в воскресный день, находившиеся в Париже офицеры той или другой русской войсковой единицы устраи-



вали свои по подписке обеды. Один такой обед, нижегородских драгунов, был особенно многолюдный и шумный. Резонанс в этом двухэтажном доме с деревянной лестницей был сильный, и в дни таких обедов снизу вверх плыл смутный гул голосов с раскатами «ур-ра!» и смеха. И в такие дни жильцы без деловой надобности не выходили из своих комнат.

Помню — день был серенький, дождливый. Вдруг — быстрый и вместе с тем осторожный стук в мою дверь. Она распахивается прежде, чем я успела сказать: «Войдите». На пороге бледная Макановицкая и ее мальчик Павлик, бледный и заплаканный.

— Что случилось?

Макановицкая шепотом, не закрывая за собою дверь: «Слушайте... слушайте...». Я выхожу за ними, облокачиваюсь на перила лестницы, слушаю и слышу: «За здоровье... Его Императорского Величества... у-у-уу-ра-ра-ра... Присоединяюсь к словам графа...» Полушепотом успокаиваю Макановицких: «Что же... как всегда, обеденные тосты». Макановицкая удерживает меня за рукав. И до нас доплывает: «...поруганная жидами... Мы... должны... именем Его — ур-ра... — но в Россию войдем с лозунгом... ур-ра-ра — бей жидов и социалистов...» Дальше слышим: «По кварталам разделить Париж, и тогда, как сказал...» — «Слышите, слышите, — шепчет мне на ухо Макановицкая. — Это значит — будет погром...» Мальчик ее испуганно жмет к матери. Успокаиваю их обоих, увожу их к ним в комнату, остаюсь при них несколько минут, заверяю, что эти внизу все спяна — и что никому зла они не сделают.

На следующий день отправляюсь в редакцию «Последних Новостей». П. Н. Милюкова, находившегося в отъезде, замещал ближайший его помощник Игорь Платонович Демидов, бывший земский деятель, в литературном мире и в литературе — новичок, но в общественной работе еще в России зарекомендовавший себя человеком стой-



ким в убеждениях. По взглядам политическим опять-таки близкий П. Н. Милокову человек. От него отличался, впрочем, лишь глубокой религиозностью, и внешней тоже, обрядовой. К нему я и обратилась.

— Игорь Платонович, вы, кажется, в хороших отношениях с Владыкой (тогда жил еще митрополит Евлогий)?

— Да, как будто... а в чем дело?

Рассказываю ему.

— Вот такого-то полка офицеры, бывшие офицеры, после обедни, после того, как прикладывались к кресту, пришли... и т. д.

Демидов, внимательно выслушав меня, ответил: «Очевидно, вы не знаете, что Владыка человек очень умный. Этому рассказу он несколько не удивится и скажет мне только то, что я неоднократно уже слышал из его уст. Скажет, что эти люди совершенно безопасны. Не нужны ни эмиграции, ни России. И только очень несчастны, и что очень многие из них в отдельности люди безобидные и мягкосердечные, а вот когда соберутся вместе... Всегда есть, в толпе ли, в более или менее многочисленной группе людей один запевала, один поводырь, который ведет за собою других или за которым, вернее, идут другие, слабовольные и нерешительные на самостоятельное выступление люди».

Жизнь, повседневность, эмигрантский быт давали богатую и убедительную иллюстрацию тому, как мало было шансов у вождей, у идеологических — как они называли себя — вождей правой эмиграции завоевать большую аудиторию и создать какое-то на этой почве националистическое движение. Очень уж тесно переплетались насущные, жизненные интересы эмигрантов-евреев и эмигрантов-неевреев, и полагавшими виновниками всех обрушившихся на русских людей бед — евреев и только евреев.

Русские люди, «бывшие» тем-то, чем-то, кем-то в недалеком еще прошлом на родине, служили, работали в пред-



приятных, в магазинах, в мастерских бок о бок с евреями, или во главе которых стояли компаньонами люди православные и иудейского вероисповедания. В общей профессиональной работе, при расчетах ли или в процессе освоения новой профессии, нового ремесла — не до расовых было разногласий. И не могло их быть, когда задачей каждого служащего в том или ином деле было прежде всего удачное выполнение работы и связанное с этим достижение всяких повышений и большего заработка.

Любопытно отметить, например, что среди эмигрантских врачей, христиан и евреев, не было вовсе ни разладов, ни взаимоотчуждений на почве расовой. Но злой и вульгарный памфлет на евреев-врачей, преимущественно эмигрантских, написал французский писатель, врач по профессии, Фердинанд Селин в своей книге «Les beaux draps». До появления этого непристойного памфлета на врачей-евреев, оказавшихся его конкурентами в одном парижском предместье, обратил он на себя внимание талантливо написанной книгой «Путешествие во глубь ночи» — книгой очень левого уклона. Боязнь конкуренции выбила левизну из его головы.

В 1937 году, на семнадцатом году эмиграции, начинает выходить новый «толстый» журнал «Русские Записки» — и по внешнему виду, и по составу редакционной коллегии ничем не отличающийся от уже около пятнадцати лет существовавших «Современных Записок». Да и сотрудники все те же. Чем вызвано было это новое начинание? Инициатива и средства на этот журнал шли от шанхайской группы русских эмигрантов, и это должно было как будто внести в такой новый журнал и новое содержание. Этого не случилось. Да, появились уже в первом номере статьи в новом отделе, какого не было в «Современных Записках». «Дальневосточное обозрение» возглавлен был этот отдел. И статьи — «События в Северном Китае», «Русская эмиграция на Дальнем Востоке», «Эмигрантские писатели на Дальнем Востоке». Люди, от-



даленные от Парижа — места более или менее многолюдного скопления русских эмигрантов, обвиняли парижские русские издания в невнимании к ним и еще в том, что писатели, живущие в Париже или близко от Парижа, оттесняют молодых писателей, заброшенных силою обстоятельств в глушь Китая или Японии.

Но в первой же книге «Русских Записок» помещена была пьеса Алданова, статья Бунина, рассказ Осоргина, стихи хорошо знакомых русским эмигрантам парижских поэтов, отличная статья Зензинова о советской молодежи, «идушей на Арктику», и о том, каким волшебным изменениям подвергся этот далекий край. О самом Дальнем Востоке, с которым журнал обещал знакомить читателей, очень мало. Освещение отношений между Китаем и Японией — статья интереса недлительного — ибо отношения эти менялись, как колебания температуры на барометре.

Из статьи о русской эмиграции на Дальнем Востоке за подписью Н. Лидина мы узнали, из каких разнородных элементов составились кадры русской эмиграции в местах, столь далеких от Парижа, в те годы, когда не было еще воздушных рейсов, туристических бюро, зазывающих пассажиров посулами в пять-шесть дней доставить им удовольствие воздушной экскурсией в Пекин, в Токио и обратно в Париж.

Тяга русских беженцев на Дальний Восток началась уже в 1919—1920 гг. Уезжали из России, из мест, откуда легче было пробраться на Дальний Восток, чем в Берлин или в Париж. Уезжали из Маньчжурии, уезжали из Сибири, с Урала — после крушения одного, другого «белого правительства». Наиболее верное пристанище, наиболее прочное обоснование представлялось русским людям в Китае. И они не ошибались. Харбин, например, в первые годы эмиграции не мог казаться чужбиной русским людям. И по внешнему своему облику Харбин больше похож был на давний русский губернский город, нежели на китайский. И социально-административный уклад жизни



носил еще ярко выраженный русский характер. Русское население города, за которым к этому времени числилось уже более четверти века Истории, давало тон местной жизни. Преобладала на улицах русская толпа, русская речь. Функционировал еще русский суд, русская почта, русская полиция. Железная дорога, например, построенная русскими техническими силами, еще лет десять не меняла русского облика. А была она наиболее широким полем приложения русских сил. До признания Советов Китаем формальным владельцем ее был Русско-Азиатский банк. Из русских эмигрантов пополнялись кадры служащих на железной дороге и всяких муниципальных учреждений. Инженеры, педагоги, врачи находили применение своим силам. Очень скоро образовался русский массив, имевший в крае твердую почву под ногами. Раньше осевшие в стране рады были помочь землякам, и не только из человеколюбия, но из такого расчета, что чем больше будет русских, тем легче будет удержать завоеванные или еще завоевывавшиеся позиции.

Золотому веку русской эмиграции на Дальнем Востоке должен был раньше или позже прийти конец. Он и пришел — лет десять, пятнадцать спустя. Но в те годы, о которых идет речь, эмигранты всех других центров могли только завидовать благоденствию своих далеких соплеменников.

Отражалось это, конечно, и на положении русских писателей, немолодых и начинающих, на Дальнем Востоке. Казалось бы, условия для творческой работы сложились для них исключительно благоприятные. Они не знали нужды, какая угнетала, и унижала, и обессиливала парижских молодых писателей, они не могли также считать себя оторванными от родины. В первые годы эмиграции и Харбин, и Шанхай были почти русскими городами. Не могли они сетовать и на отсутствие издателей и издательств. Было и то, и другое. И было немало имущих, хорошо зарабатывавших людей, которые полагали своим долгом да-

вать русским писателям возможность проявлять свои дарования. Одним из таких искренних и щедрых меценатов, Михаилом Наумовичем Павловским, инженером по профессии, и предложена была группе известнейших русских эмигрантов в Париже довольно крупная по тому времени сумма — около трехсот тысяч франков на издание в самом Париже толстого журнала, в котором бы отмечались не только важные политические события на Дальнем Востоке, но и помещались произведения живших на Дальнем Востоке писателей. И что же получилось? Журнал «Русские Записки» — который уже со второго номера стал редактировать П. Н. Милюков — не мог ни поместить ни одно произведение дальневосточного русского писателя, ни отметить как-нибудь сколько-нибудь значительную повесть, роман или сборник стихов. Все, что приходило с Дальнего Востока, отличалось провинциализмом, старомодностью, тусклым дилетантизмом... Выходила и в Шанхае большая ежедневная газета «Шанхайская Заря», но заполнялась она или корреспонденциями парижских, нью-йоркских русских писателей, или перепечатками русских авторов, печатавшихся в русских парижских, берлинских и нью-йоркских газетах...

За многие годы материального благополучия дальневосточной эмиграции из вышедших там десятков книг единственно достойной зачисления в каталог подлинно художественных литературных произведений была и есть книга Нины Федоровой «Семья». Книга эта, вышедшая сначала на английском языке, частями печаталась в журнале «Русские Записки», когда стал их редактировать П. Н. Милюков, и лишь недавно полностью на русском языке издана была в нью-йоркском Издательстве им. Чехова. В книге этой ярко, талантливо дана была картина русского рассеяния на Дальнем Востоке. И русские, и китайцы нашли в авторе, Н. Федоровой, не только верного фотографа, а и художника, сумевшего отобразить из тьмы наблюдений самые характерные и вместе с тем самые обобщающие черты.

Журнал «Русские Записки» существовал недолго. Главным русским литературным центром оставался Париж. Несмотря на то, что некоторые русские писатели оказались в Нью-Йорке, и то, что большинство из них стали издавать свои книги в Нью-Йорке, руководящая духовная роль в русской эмиграции оставалась за Парижем.

Меценаты, подобные дальневосточным благожелателям русских писателей, имелись и в Париже. Но и меценатствовали, и благотворили они если и не в таком широком масштабе, как те, на Дальнем Востоке, то как-то культурнее, целесообразнее и планомернее.

«Последние новости», «Дни», газета, возглавлявшаяся Керенским, «Возрождение», где больше всего места занимали статьи полемического характера, корреспонденции из разных стран, дававшие оценку общего политического положения, не могли помещать и половины беллетристического, поэтического материала, получавшегося в редакциях этих газет.

Известный адвокат М. М. Винавер, чрезмерно большим состоянием не обладавший ни в России, ни в эмиграции, нашел, однако, возможным, ибо находил это нужным, уделить из своих личных средств значительную сумму на издание художественно-литературного еженедельника «Звено». Считая имя Милюкова более популярным в эмигрантской массе, скромный Винавер звание главного редактора журнала Милюкову и предоставил. Но журналом, выходящим с 5 октября 1924 года и скоро завоевавшим читательскую аудиторию, руководил не Милюков, не Винавер, а молодой тогда помощник Винавера в его юридической работе Михаил Львович Кантор. Широко образованный, умный, одаренный безошибочным литературным чутьем, он сумел привлечь ценных сотрудников: зарекомендовавшего себя уже в России своей работой во «Всемирной литературе» А. Я. Левинсона, молодого, только-только начавшего писать Г. Адамовича и угадал в почти неизвестном Константине Мочульском писателя, о твор-



ческих возможностях которого никто не догадывался... Впоследствии Мочульский развернулся в мастера историко-литературных монографий. Этот преждевременно сторевавший человек оставил труды о Вл. Соловьеве, Достоевском, А. Блоке, которым сужден, несомненно, долгий век.

В квартире М. М. Винавера раз в месяц читались доклады о старых русских писателях, о взаимодействии двух литератур — русской и французской. После доклада за длинным-длинным столом, уставленным вкусными сандвичами и тортами, завязывался обмен мнений, литературные споры, никогда не переходившие за пределы культурной учтивости... Тон этим вечерам давали хозяева и руководители журнала «Звено».

В Париже выходил воскресный в эмиграции давний петербургский еженедельник «Иллюстрированная Россия». До революции в России он издавался А. Э. Коганом, Городецким и Котловкером. Они же создали в Петербурге единственную в своем роде газету «Копейка», ценою в копейку. В Париже «Иллюстрированная Россия» могла возродиться уже на средства Б. Гордона. Этот меценат поддерживал и русских актеров — чем и как это представлялось возможным. А в недавнем еще блестящей актрисе Е. Н. Рождиной-Инсаровой предоставил часть своей квартиры для «Салона Бриджа». Salon de bridge — тоже эмигрантское новшество — был тогда в моде среди эмигрантов. Такой картежный приют дал любителям бриджа и Феликс Юсупов, в доме которого на Мойке в Петербурге был, как известно, «упразднен» Распутин.

На средства осевших в Риге и в Ревеле русских эмигрантов, дельцов, людей культурных и знавших цену хорошей книге, стал выходить отлично иллюстрировавшийся еженедельник «Перезвоны». Обслуживался он преимущественно писателями, жившими в Париже и в Берлине. Время от времени издательство выпускало в увеличенном размере номера, посвященные тому или другому русскому художнику, номера с богатыми цветными иллюстрациями.



Не было на широком пространстве русского эмигрантского рассеяния ни одного сколько-нибудь значительного проявления русского творчества — в области ли литературной, художественной, научной, музыкальной, в области ли чисто практического «делания», в области технических изобретений, — которое бы не приветствовалось, не отмечалось на страницах «Последних Новостей». Лучи справедливой оценки, дружеского поощрения и материальной поддержки шли от «Последних Новостей» в самые далекие, самые глухие углы русского рассеяния.

В мои поездки в Бельгию, Голландию, куда группы русских эмигрантов приглашали нас, парижских русских писателей, прочитать доклад на какую-нибудь «тему дня» или что-нибудь из своих произведений, мне неоднократно приходилось слышать признания: «Ждем не дождемся 12-ти часов дня, когда прибывают «Последние Новости»». Приходилось наблюдать очереди перед газетными киосками в Брюсселе, в Антверпене в часы получения «Последних Новостей». Это укрепляло в сотрудниках газеты сознание, что труд их находит отклик и в далеких читателях, и вместе с тем обязывало к бережному, «честному» отношению к своей работе. Далекие зарубежные читатели «Последних Новостей» писали и письма в редакцию, писали и сотрудникам: приятные и неприятные, лестные и ругательные.

К «Последним Новостям» прибегали за советом, за помощью не только читатели парижские, но и из далеких городов и даже стран. Случалась беда, несчастье в какой-нибудь эмигрантской семье — осведомленная об этом редакция «Последних Новостей» спешила откликнуться. На обращение к читателям помочь чем кто может чужому горю немедленно стали получаться пожертвования. И обычно сумма пожертвований превосходила сумму, какая нужна была для облегчения чьего-то горя, для помещения больного в санаторию, на уплату за квартиру, на снабжение теплой одеждой, углем, дровами нуждавшихся в такого



рода помощи. И тогда контора «Последних Новостей», державшая читателей в курсе поступавших пожертвований, доводила до их сведения — «сбор прекращается».

Ежегодная «Неделя доброты» — тоже по почину «Последних Новостей» — стала чем-то вроде нравственного обязательства и для имущих, и даже для малоимущих эмигрантов. И сумма пожертвований, поступавших за эту «Неделю доброты» — она совпадала с предпасхальными днями, — многим десяткам, многим сотням эмигрантов была бесценной поддержкой. Редакцией «Последних Новостей» вскоре после возникновения газеты приглашен был видный чиновник парижской префектуры для консультаций-советов эмигрантам по вопросам местожительства, по налоговым обязательствам, а также для указаний разных местностей в стране, где требовались рабочие руки и где легче было устроиться, чем в перенаселенной столице. Консультации были бесплатные: от вознаграждения отказался и консультант. Им оказался выросший в России, в Москве сын французского врача, отлично говоривший по-русски Владимир Александрович Парис. С большинством сотрудников он скоро подружился, и мы все полюбили его.

Для характеристики этого французского чиновника и его отношения к русским эмигрантам нельзя не привести такой эпизод: ближайшей помощницей администратора газеты В<ладимира> Андреевича Могилевского была сестра известного в России и в Германии издателя С. А. Эфрона, высококультурная Марья Абрамовна Шайкевич. Будучи еврейкой, она с занятием Парижа гитлеровцами вынуждена была нашить на свою верхнюю выходную одежду желтую звезду. Как-то на улице встретил ее В. А. Парис, не видевший ее до того несколько месяцев. Опешил, обнял за плечи и, плача, прижался горевшим от стыда лицом к ее плечу: «На моей родине. Во Франции. В Париже. С желтой звездой...»

Летом 1928 г. и «Последние Новости», и «Дни» предложили мне давать им статьи о выставке печати в Кёльне,



о предполагавшемся скором открытии которой писали все газеты мира. Излишне рассказывать, как я ухватилась за это предложение. Собралась я в таком спехе, что не догадалась даже списаться с каким-нибудь отелем или пансионом и удержать для себя комнату. Но благодаря исключительным организаторским способностям немцев — устроителей выставки всякого рода затруднения для приезжих журналистов были заблаговременно устранены. В самый час моего приезда в Кёльн я из огромных афиш на вокзале узнала о существовании осведомительного бюро при синдикате прессы. При вручении мне адресов свободных комнат были вручены также приглашения на первые два банкета в честь журналистов: на банкет от германской печати и на банкет от города Кёльна.

На первом банкете я благодаря счастливой для меня случайности оказалась рядом с давно знакомым и симпатичным мне журналистом Николаем Моисеевичем Волковыским. За узкими длинными столами, расставленными подковой, великолепно сервированными, было столько лиц — мужских и женских, столько типов — разбегались глаза — и удержали они, закрепили в памяти только моих визави, на которых указал мне Волковыский. Это были Альберт Нейман — главный редактор венской «Neu Freie Presse», и сидевшая рядом с ним Анжелика Балабанова. Альберт Нейман — с живописной пышноволосой головой, с одухотворенным узким лицом и умными смеющимися глазами. Анжелика Балабанова — в прошлом эгерия Муссолини и близкий ему человек. Будучи образованнее, культурнее его, она многому научила его и руководила им на первых порах его политической революционной деятельности. Небольшого роста, худенькая, очень скромно одетая, скорее некрасивая, она нигде не могла бы привлечь к себе внимание, если бы не ее близость в прошлом к Муссолини. Только глаза были у нее мягкие, очень темные, почти черные и светившиеся внимательно и тихо.



Дамам подносили изящные коробки конфет. Распорядителю трудно было перегнуться через стол, чтобы вручить такую коробку и мне, и я получила ее из рук Балабановой, взявшей коробку для меня и потом уж для себя. Могла ли я предположить тогда, что получу от нее и другую коробку, но совершенно иных размеров и при небанальных обстоятельствах. Это случилось восемнадцать лет спустя. В 1946 году. После Второй мировой войны, после печальной памяти лет оккупации... Я жила опять в Париже, где так еще трудна была жизнь, так много было недостатков и где большинство русских эмигрантов могли существовать только благодаря продовольственным и вещевым посылкам из Америки. Получала их и я. От Литературного Фонда, от друзей, от разных культурных организаций, руководители которых были мне не знакомы.

Помню, день клонился к закату. Я сидела за своей машинкой и что-то спешно достукивала, когда громкий звонок оторвал меня от работы. Посылка. Большая, тяжелая. Из Нью-Йорка. Отправитель: Анжелика Балабанова. Я несколько раз прочитала адрес, дабы убедиться, действительно ли мне эта посылка. От Анжелики Балабановой? Почему? И как она могла узнать обо мне и мой адрес? Содержимое посылки было мне большой радостью: так внимательно, по-женски было все подобрано, и полезное, необходимое, и приятное, утешное. Лишь несколько недель спустя узнала я, что Балабанова от знакомых русских социалистов узнавала адреса нуждавшихся в помощи русских эмигрантов, принадлежавших к тому же литературному клану, и посылала им бесценные для них подарки из своих личных скромных средств. Благодаря ее за посылку, я напомнила ей про банкет в Кёльне на выставке печати в 1928-м и то, что она сидела рядом с А. Нейманом, против меня...

Больше на выставке я ее не встречала. Осмотр павильонов наполнял дни с утра до вечера. Выставка была изумительная и столь поучительная. Как создается газета, ис-



тория печатного слова, путь, какой в течение веков проходили письма, как рождалась книга. Меня, конечно, больше всего интересовал русский павильон. Он открылся позже других. И так как дни моего пребывания в Кёльне были ограничены, я решила выждать кого-нибудь у входа в не совсем еще убранный внутри павильон и попросить разрешения осмотреть его. План мой удался мне. Увидев торопливо подошедшего к дверям русского павильона молодого человека очень делового, озабоченного вида, я подошла к нему и изложила свою просьбу — он недоверчиво и удивленно меня оглядел и сказал, что должен кого-то спросить из тех, что уже находились в помещении павильона. Прошло пять минут, и ко мне вышел И. И. Ионов, который был секретарем Госиздата, когда я до своего отъезда из Петербурга переводила для Госиздата Ромена Роллана. Небольшого роста, плотный, смуглый, с копной черных вьющихся волос, похожих на сбитую в ком тонкую проволоку, он являл собой ярко выраженный семитический тип. И резкую противоположность своей белокурой, голубоглазой, розовощекой, белозубой жене. Поповой была она в девичестве, из Новгородской, кажется, губернии, в замужестве — преданной, но властной женой, партийной коммунисткой и страстной матерью своего, пятилетнего тогда, большевика — вылитого портрета отца... Обоих я знала еще в Петербурге и очень ценила их расположение ко мне. Не ко мне одной, впрочем. Гонорары за переводы для Госиздата выплачивали Ионовы, и все мы, переводчики и переводчицы, не могли не оценить их готовности быть нам полезными.

Ионов ввел меня в павильон. Показал мне все, что я могла и должна была использовать для своих корреспонденций, и, прощаясь со мной, приглашал прийти опять, что я и сделала (очень уж интересен и живописен был павильон), и надавал мне столько русских прелестно изданных, изящно переплетенных книг, что я едва могла донести их домой. Когда я пришла на третий день, Ионова не было



в павильоне, и две дамы давали объяснения посетителям на отличном немецком языке. Когда одна из них освободилась, я подошла к ней и спросила: «Неужели все, что вы рассказывали этому иностранцу, отвечает действительности? Неужели все так хорошо, так уж хорошо?» Она вспыхнула и в свою очередь спросила: «А кто вы такая?» Я назвала себя. Она протянула мне руку и назвала себя: Фрумкина. Имя было мне знакомо. Жена известного уже тогда и близкого к центральной власти большевика.

— В Италии бывали? — продолжала она. — И в Бельгии — тоже, кажется. Пойдите в их павильоны и послушайте, как они там свой товар выхваливают. Выставочный павильон — это лавка, где выставлены продукты страны. Что же нам, хулить или хвалить свой товар? Возвращаться в Россию не собираетесь?

— Нет.

— Почему? На чужбине лучше?

Мы отошли в угол, чтобы не мешать ее сотруднице давать объяснения другим посетителям, и разговорились. И так хорошо, так душевно развернулась наша беседа партийной большевички с эмигранткой, сотрудницей антибольшевицких газет, что на прощание она, большевичка, могла сообщить эмигрантке, что у нее две девочки и что она купила для них прелестные панталончики и вязаные кофточки.

По моем возвращении в Париж эсеры в редакции газеты Керенского «Дни» подтрунивали надо мною:

— Чем это вас так обворожила Розочка Фрумкина... Интересно было бы знать, как она приняла бы вас не на выставке в Кельне, а в Петербурге или в Москве.

К русским эмигрантам отношение во Франции было совершенно отличное от отношений французов к эмигрантам из других стран.

Отчасти в силу давних воспоминаний: русские богатые баре, русские имущие люди, русские студенты были знакомыми — и не только парижанам — разнообразными



русской нации. Русские студенты, студентки — и значительный процент их были евреи, для французов — русские, подданные далекой России — учились в университетах и высших технических школах Бордо, Монпелье, издавна славившемся медицинским факультетом и лучшими во всей Франции врачами-специалистами. Немало русских учащихся было и в Марселе, Нанси, Страсбурге. Много русских студенток повыходили замуж за французов — больше всего за своих профессоров медицинских факультетов. Знакомству французов с русскими способствовали отчасти франко-русские союзы, обмен официальными визитами между представителями Франции и России. Французская масса, обыватели в своем быте с внешней политикой своих правительств не считались, мало, за недосугом, следили за нею. Но, помимо их интересов, так или иначе на отношении их к русским отражалось благоволение к России министров иностранных дел. Затем хлынули во Францию волны русского искусства. И русский балет, и русская опера. Шаляпин, Дягилев, Анна Павлова для десятков тысяч русских являли собою магов, открывавших своим соотечественникам доступ в самые замкнутые души французских шовинистов и ксенофобов.

Наконец, Первая мировая война 1914—1918 гг. — когда оказались союзниками русские и французы, сражались бок о бок, гибли, отлеживались месяцами в одних госпиталях — одни в русских, другие во французских. Завязывались не только знакомства, но и дружеские отношения. Возникали уже по инициативе высших военных властей «союзы комбатантов», помощью которых пользовались и пользуются поныне русские воины, сражавшиеся, получившие ранения на территории Франции или в рядах ее армий.

Многие французы могли позднее читать в «Мемуарах» маршала Жоффра хотя бы такие строки: «Русские оказали нам поддержку, которой оправдали возлагавшиеся на них



мною ожидания. Никогда не должно угасать в нас чувство благодарности к русским, героическая армия которых и искусство их вождей вторично спасли нам нашу родину» (т. 1, с. 265).

Они могли читать и в книге Черфильса (с. 284): «Бесценное содействие русских войск, героическое их сопротивление никогда не будут забыты нами».

Массовая русская эмиграция, хлынувшая во Францию после переворота, могла бы смутить французского обывателя. Но часть французского общества — фабриканты, дельцы, стоявшие во главе всяких промышленных предприятий, — прежде всего учли возможность восполнения унесенных войною рабочих рук. Оно так и оказалось. Значительная часть русской эмигрантской массы заполнила собою поредевшие кадры заводских, фабричных рабочих. И это был дешево оплачивавшийся труд. Когда выяснилась нужда в большом количестве рабочих, французские агенты стали вербовать рабочих в Польше и в наиболее пострадавших от войны итальянских провинциях. Среднего достатка французы, хозяева какого-нибудь скромного, но доходного предприятия, располагавшие комфортабельными, хотя бы и небольшими квартирами в Париже, клочком земли, дачкой в какой-нибудь приморской или горной местности, устроившие свою жизнь ладно, прочно, знавшие цену франку, пристойно и умело делавшие сбережения, интересовавшиеся политикой, процессом международных отношений и критиковавшие — осторожно, тактично — мероприятия своего правительства, приглядывались с любопытством и даже благожелательством к новым, столь новым для них людям. И чрезвычайно характерен для уверенно считавшего себя культурным гражданином свободной и высокой культуры страны француз рассказ одного моего знакомого о встрече с одним таким французом.

Тщетные поиски заработка, неудачи одна за другой, жаркий летний день, усталость привели его однажды к по-



сулившей ему отдых широкой скамье под густой листвою какого-то дерева, свешивавшейся через невысокую ограду. Едва он присел, за оградой залаяла собака. И на лай ее к ажурным воротам и калитке рядом подошел хорошо одетый, приятной добродушной внешности человек и спросил, что ему угодно. Он ответил, что ему ничего не угодно, но что очень устал и позволил себе вот присесть на скамью. Похвалил живописность местности. — «Хорошо у вас тут». Хозяин усадьбы согласился — да, действительно, хорошо, — открыл калитку и присел рядом с незнакомцем. По выражению его лица нетрудно было догадаться, что он старается определить социальное происхождение последнего. Кто такой? Откуда? По-французски говорит отлично, но иностранец. Ясно, как день.

— Тут, в городе, живете? — и, не выждав ответа, добавил: — Турист, вижу.

— Как вам сказать, — начал мой знакомый и представился. — Эмигрант. Русский эмигрант. Вольцев моя фамилия*.

Назвал себя и хозяин виллы:

— Деваль. По образованию химик. Но типографское дело... типография на одной из близких к центру парижских улиц. А здесь отдыхает, когда очень уже устает от Парижа. — А вы по образованию, — позвольте спросить...

— Юрист. Но это уже в прошлом. В далеком прошлом.

— Что же мы здесь. Пойдем ко мне в сад. Стаканчик вина выпьем. У меня не то чтобы уже очень такое. Но все-таки.

Вольцев был так утомлен и подавлен неудачами последних дней, что, не размышляя и не возражая, пошел за Девалем в сад, где недалеко от дома стоял под широкой липой круглый каменный стол.

* Имена собственные — изменены (примеч. автора).



Деваль побежал за дом и через две минуты вернулся с бутылкой вина и двумя красивыми стаканами.

— А какая же все-таки счастливая случайность привела вас к калитке моей виллы? — полюбопытствовал он.

— Я сегодня только из Марсея приехал. Работал там в одной конторе. Она закрылась. А в Экс я поехал по приглашению на съемку, но...

Деваль прервал его:

— Но разве вы кинематографический артист? Мне слышалось, вы сказали — юрист.

— Да, я был юристом... там, дома. А здесь — чем придется... Слыхали, верно, как мы все, русские эмигранты...

Деваль подлил ему и себе вина.

— Да, да, конечно. И как много интересного вы мне можете рассказать.

Получив ответы на свои вопросы о Распутине, царице, Ленине, о царских бриллиантах, волжских стерлядях, икре, о русской водке, о Толстом, Деваль участливо спросил:

— Но ценности свои вы сумели вывезти из России?

Вольцев ответил, что ему нечего было вывозить — у него никаких ценностей не было.

— Как же вы жили? А семья была?

— Была и теперь есть. Жена, легкие у нее слабые, — в Ницце, уроки музыки дает, и два мальчика, в Чехословакии в русской гимназии учатся.

Деваль слушал с явно упадавшим в нем интересом.

— Но отчего, собственно, вы уехали из России? Вы монархист?

Вольцев энергично и отрицательно помотал головой.

— И не анархист? — продолжал француз. — Адвокаты ведь и теперь, вероятно, в России нужны, и дети тоже в школах учатся, и для кинематографических съемок там тоже люди нужны. Зачем вы уехали? Предпочли так вот, — оглядел Вольцева с головы до ног: и его небольшой



холщовый мешок за плечом, и бело-серые от пыли башмаки на искривленных каблуках, — по большим дорогам...

Вольцев чувствовал, как кровь прилила, отлила от его лица, хотел встать, уйти, но тело ныло от усталости, ступни точно приросли к земле, и клонило ко сну от крепкого на пустой желудок вина.

— Долго объяснять... И я страшно устал, — мог он только сказать. — Но я вам в другой раз все охотно расскажу. Вот если бы вы мне соснуть где-нибудь дали.

Француз даже вздрогнул, привстал, опять сел.

— Хотите развести меня с моей женой? Если она узнает, что в этом доме ночевал чужой человек, она... она... Никогда... Но позвольте вам предложить — вот, на ночлег в каком-нибудь отеле. — Он вынул из жилетного кармана две смятых двадцатифранковых бумажки и положил их перед незванным гостем.

— И вы взяли их? — решила я спросить.

— Я встал, неловко откланялся и пошел к калитке. И этот Деваль побежал за мной... сунул обе бумажки в карман моей куртки, заверяя, что он от чистого сердца и что когда смогу... и что он не сомневается в моей корректности. Я и вернул ему эти сорок франков — но лишь шесть месяцев спустя — и получил в ответ сухое подтверждение получения долга.

О том, как мало знали французы о нас, о России, может сказать еще такая сценка, действующим лицом которой была я сама и 16-летний хозяйский сын в одном пансионе в Савоие, где я отдыхала после болезни.

Послала его ко мне мать — что-то испортилось в моей настольной лампе. Я перестала читать и с интересом смотрела, как он ловко работал маленькими инструментиками, которые брал из висевшей у его пояса почти элегантно кожаной сумки. Я молчала — и он молчал. Ему скоро надоело молчать. Он взглянул в окно, на позолоченные солнцем снежные шапки гор, и не то осведомительно, не то вопросительно молвил:



— Красота какая... А...

Я согласилась — да, очень хорошо.

Он помолчал немного и спросил:

— А в России горы есть?

— Конечно, есть. Кавказ, Крым, Урал, Алтай...

— Да-да... И высокие? Настоящие горы? Или вот такие, — он подержал в воздухе ладони на высоте полутора-двух метров от пола.

— Нет, нет, не такие маленькие. Настоящие горы. Эльбрус, Арарат — выше Монблана, — невольно загорячилась я.

Юноша недоверчиво слушал, удивленно поднял лоб в морщинки.

— И море есть?

— И море есть. И не одно.

Рене с электрическим шнуром в одной руке, с ножиком в другой круто повернулся ко мне:

— Какие же такие?..

— Ну, Черное, Каспийское, Балтийское, Ледовитый океан.

— Гм... И реки тоже? Большие реки?

Я не могла не рассмеяться.

— Разве в школе вас географии не учили? Волга, Ока, Кама, Дон, Днепр, Днестр... всех не перечесать.

— Да, да, вспоминаю. У нас такой фильм тут показывали... Так, так... Значит, большая она, ваша Россия. Больше Франции?

— Да, немного как будто больше. У вас нет карты Европы?

Он, не ответив, продолжал хмуро работать и вдруг огорошил вопросом:

— Почему же вы здесь, а не у себя дома? От революции убежали?

— Это долго объяснять, — начала было я и, чувствуя, что краснею и что Рене торжествует, видя мое смущение,



с деланным равнодушием повторила: — долго об этом... Как-нибудь в другой раз. Кончили?

Рене собрал свои инструментики, на мое «мерси» сухо-вато ответил: «Не за что...» и ушел.

Да, в самом деле? Почему мы здесь, когда у нас хорошо — и горы, и моря, и реки. Как было ему объяснить?

На ловца, как известно, зверь бежит. Несколько месяцев спустя я, бродя по Провансу, попала в крошечный горный городок Англ. На площади в этом Англе — четыре аршина в длину, три в ширину, будто скатерть на двенадцать персон, стоял темно-зеленый от давности бронзовый бюст какого-то длинноусого сердитого мужчины — Арман де Понмартен было ему имя.

Спустившись с гор, я не поленилась разузнать, кто такой этот Понмартен и почему такой сердитый. И узнала: писатель, автор нескольких романов, редактор-издатель нескольких многочитавшихся на юге Франции газет и романов, и почему-то очень не любил талантливого и остроумного критика Сент-Бёва, и Сент-Бёв не любил его. Но это не столь интересно было для меня, русской туристки, как то, что дед этого Понмартена, носивший еще графский титул, жил много лет в России в качестве французского эмигранта, бежавшего из Франции в 1791 году, и Суворов предлагал ему службу в русской армии. В Подольской губернии, на моей родине, где так хороши тополя, не хуже, если не лучше, провансальских кипарисов, в имении графини Потоцкой приютилась вся семья графа Понмартена. Чтобы отплатить за оказанное ему гостеприимство, он занялся режиссурой домашних спектаклей, в которых и сам участвовал в качестве актера. Широкое радушие, какое оказывалось в России французским эмигрантам, однако, тяготило щепетильного графа, и он высказал это однажды в разговоре с Суворовым. Будущий герой «Чертова моста» успокоил его таким ответом: «Ничего. Это гостеприимство в кредит. Будет время, когда русские эмигранты станут искать убежища во Франции. Расквитаемся».



Это не легенда наших дней. Эти вещие слова великого русского фельдмаршала приведены в биографии графа Понмартена — с датой 1864 г. — на обложке...

Русские стали открывать гастрономические лавки и рестораны. Французские лавочники-рестораторы не смотрели на них как на своих конкурентов. У русских была сначала исключительно своя русская клиентура. Постепенно интересы русских лавочников и дельцов сливались с интересами французов, занимавшихся тем же делом. И у них скорее нашелся общий язык, чем у бывшего царского генерала с бедствующим русским художником или у бывшего царского губернатора с еврейским дантистом, ютившимся в такой же, как он, убогой квартирке в одном из самых неэлегантных кварталов Парижа. Русские дамы открывали модные дома, и парижские большие модные дома даже не удостаивали видеть в них конкуренток. Эти русские дома обычно скоро прогорали, да и клиентура была у них преимущественно русская... Но для красивых, изящных русских девушек, молодых женщин известнейшие «Maisons de Haute Couture» охотно открывали малодоступные двери своих храмин. И многие русские манекенщицы, и первые продавщицы преуспевали на этом поприще.

В те далекие уже двадцатые годы русские эмигранты с острым интересом, с понятным волнением читали труды французских историков о французской эмиграции. О французских эмигрантах, хлынувших во все страны Европы — и отчасти в заокеанские — в самом начале, в разгаре и после Великой французской революции 1789 г. Искали у историков 19-го столетия, и у новейших (у Мадлэн, у Додэ — брата романиста), и в большом двухтомном труде Фердинанда Балденсперже (Ferdinand Baldensperge. «Le mouvement des idées dans l'émigration française» — «Брожение, эволюция мысли во французской эмигра-



ции») сопоставлений, аналогий и делали из них утешительные выводы. Если и не очень старались авторы этих книг, то за них додумывали читатели. Так было, так будет.

Герцогини, виконты, князья, графини, бароны — носители громких исторических имен, очутившись за пределами своей родины точно так же, как русские графы, княгини, генеральши, адмиралы, сановники, продавали вывезенные бриллианты, фамильный жемчуг... Когда нечего было больше продавать, давали уроки французского языка, продавали свои художественные вышивки, миниатюры, камни. А там — Реставрация, потом Империя, и еще, и еще, и жизнь легкая, праздная, нарядная потекла в прежних руслах. Так было, так будет.

Мало было, увы, русских читателей таких утешительных, обнадеживающих книг, которые по своему интеллекту могли бы учитывать разницу этих огромных исторических процессов и разницу социальных условий, в которых оказались ушедшие или выброшенные из своей страны французы, а сто двадцать пять с лишком лет спустя — русские. Не было уже для русских эмигрантов великодушных монархов и монархинь вроде Екатерины Второй, осыпавшей милостями, задаривавшей землями, всякими угодами знатных французских эмигрантов, не было гостеприимных курфюрстов, где могло бы весело проводить время русское офицерство, как в свое время французская армия Кондэ в Кобленце, и не было уже ни в Италии, ни в Испании, ни в Португалии богатых монастырей, которые могли бы приютить русских эмигрантов, как в свое время широко раскрывали они двери своих затворов для французских единоверцев — католиков. И не было еще спроса на русских учителей, даже интереса не было к русскому языку — он возник много позднее. Тогда из французской массы всего больше учителей, воспитателей пришлось на одну Россию. И «Monsieur l'Abbé, француз убогий», воспитывавший Онегина, и француз Дефорж из «Дубровского», и француз Бопре, воспитывавший Гринева, героя «Ка-



питанской дочки», выбраны были Пушкиным из наводнивших Россию французских эмигрантов. И во всех дворянских усадьбах, по всей великой Руси появились гувернеры, «мадамы», и у них (а были среди этих эмигрантов, педагогов поневоле, много совершенно неподготовленных к педагогической работе) русское юношество училось французскому языку.

Русские эмигранты на интерес французов к русскому языку рассчитывать не могли. Очень скоро ясно стало, что, несмотря на единение Франции с Россией, несмотря на «союзы» государственного значения, несмотря на то, что во французских университетах уже десятки лет учились тысячи русских юношей и девушек, и несмотря на то, что верхи французского общества успели уже оценить изысканность русской знати и содержатели фешенебельных отелей и ресторанов — щедрость русских гостей, средние, рядовые французы к русским эмигрантам, или, как называли их, «беженцам», относились первое время настороженно, и в любопытстве их к этой новой разновидности человеческой породы чувствовалась и опасливость, и сдержанность. Присмотреться раньше — а там уже видно будет, можно ли их звать к себе в дом. А дом, семья — для француза до этой последней мировой войны, начавшейся в 1939 году и опрокинувшей все устои, — были тем же, что для англичанина «мой дом — моя крепость».

Русские эмигранты вычитывали у французских писателей-историков утешительные упования на то, что и у нас будет то же. История, как известно, повторяется. И в наших русских городах улицы, названные именами большевистских вождей, будут переименованы по-прежнему, по-старому, как это было во Франции, и нам будет возвращено все, что отнято было у нас, как возмещено было в свое время французам то, чего лишила их революция 1789 г. Русские эмигранты не вели счета своим годам на чужбине. И очень, очень мало было среди них людей, задумывав-



шихся над одним немаловажным обстоятельством, составлявшим существенную разницу между французской и русской эмиграцией. Якобинцы стояли у власти всего три года. И за эти три года французские эмигранты и преимущественно французская знать, культурные ее представители, очень многому научились у иностранцев, которых не знали раньше. Узнали, что можно обходиться без огромного штата прислуги, что на владельцах больших земельных угодий лежит обязанность заботиться о них, узнали на чужбине, что и в недрах их родной земли таятся возможности обогащения их родины, узнавали, что и во Франции мыслимы такие же заводы, фабрики, о которых они раньше не знали. Между феодальной знатью, между многочисленным привилегированным окружением французского двора и народной массой, обслуживавшей их, стояла глухая стена. Балденсперже в своем замечательном труде об эволюции идей во французской эмиграции рассказывает о том, как блиставшая красотой и умом в парижском свете французская маркиза после трех лет, проведенных ею в Англии, вернувшись во Францию, пожелала впервые познакомиться со своими, несколько сокращенными уже, владениями, занялась сельским хозяйством и ввела много улучшений и в крестьянский быт, и в обработку земли. И примеру ее последовали другие землевладельцы. Так называемое «третье сословие» (tiers état) во Франции возникло после революции, и эта быстро организовывавшаяся буржуазия, богатевшая благодаря дешево приобретенным землям, угодьям французской знати, могла создать и французскую промышленность, и в широком масштабе торговлю, и товарообмен с другими странами.

Русским эмигрантам, тем, что потеряли все, и наследственное, родовое, и благоприобретенное, нечему было учиться на чужбине. За ними был уже вековой опыт землепользования и строительства. И земства, и жертвенность, и хождение в народ, и — даром, что всего лишь в 1861 году отменено было крепостное право, — в гуман-

ном обращении с низшими их по положению социальному, со слугами, они могли давать французам сто очков вперед. Но русские эмигранты узнали что-то другое, поразившее и смутившее их неожиданностью. Европа их не знала, Франция не знала России. В те двадцатые годы сведения французам о России не шли дальше пресловутой «развешенной клюквы»: водки, кнута, ну и, конечно, Распутина. На помощь русским эмигрантам пришло русское искусство. Французы, французская элита знала уже Павлову, Шаляпина, знала уже о Чайковском и Мусоргском по блестящим оперным спектаклям и концертам, организованным в 1913 году Дягилевым. Знал кое-кто уже и о юном тогда Сергее Лифаре, и о Нижинском. Но русское искусство лишь в двадцатые годы проникло в широкие слои населения Франции. Знаменитые русские артисты снабжали русских эмигрантов более ценными видами на жительство, более убедительными рекомендательными грамотами, чем всякие официальные учреждения, консульства и комитеты, представленные именитыми американскими филантропами. Русские артисты, и не первоклассные, певцы, певицы, сыгравшиеся квартеты, танцоры и танцовщицы, в поисках заработков рассыпавшиеся по всем большим городам Франции, быстро завоевывали аудитории, почитателей и учеников. Русская музыка, русская интерпретация знакомых уже французам музыкальных произведений вносили в музыкальную жизнь страны что-то новое, волнующее, будоражившее, одних увлекавшее, других пугавшее страстностью, взмывающей удалью, острою печалью. Русская музыка, русская хореография с каждым месяцем все прочнее утверждали свое влияние. В одном, другом, третьем французском городе возникали школы — не танцев — а балетного искусства, и руководителями их, реже руководителями, были исключительно русские балерины.

Знакомство с каким-нибудь — уже европейской или мировой известности — русским артистом, правдивый

рассказ о чертах его личной жизни, о его удачах или драматическом эпизоде из его жизни сближали русского рассказчика, рассказчицу с едва знакомым французом или француженкой, зачарованными русским искусством, открывали двери в недоверчивые, надменные души французских меломанов.

Совсем по-иному складывалась жизнь писателей-эмигрантов. Эти не вывезли с собой ни сбережений, ни ценностей — только привычку писать, видеть свое имя в журналах, газетах, на обложках книг и еще — чувство достоинства и сознания, что они ничуть не хуже много издававшихся и много зарабатывавших французских коллег. Во Франции давно были известны, но отнюдь не широкой читательской массе, Толстой, Достоевский; и тот, и другой — до 1918—1920 гг. в плохих переводах. Тургенев, столько лет проживший во Франции, был известен не столько своими произведениями, сколько своей близостью к семье известной певицы Полины Виардо. Только очень малочисленная «элита», только верхи французской интеллигенции знали о Пушкине, Лермонтове, совсем мало о Некрасове, о Гончарове, о народнической литературе. Очень мало, словом, знали о том багаже, который привезли с собою и большие, и менее значительные русские писатели-эмигранты, о том багаже, с которым они росли, духовно были крепко спаяны, который несли в себе, носили всюду с собою как неотделимое от них наследие. И казалось им — многим из них, — что иностранцы, культурные французы не видят, не читают на их лицах, в их глазах, на их лбах гербов высокой духовной знатности.

Сближению русских писателей-эмигрантов с французскими писателями мешало и то, что они плохо, а то и совсем не говорили по-французски и внешне — одеждой, манерами, повадками, неуверенностью и наигранной неловкой развязностью — резко отличались от ладно-одетых, сдержанно-любезных, по привычке учтивых и острожно-надменных французских коллег. Что мог «гордый



взор иноплеменный» разглядеть в таком вахлаке, как Шмелев, в согбенном, близоруком, покашливающем, чудаковатом нарочитой чудаковатостью, скрывающей неугасимое горение духа — в этом «колдуне» А. М. Ремизове?

Больше успеха имели во Франции, в частности, в Париже в первые годы эмиграции политические деятели. Несколько аристократических салонов открыли перед ними свои малодоступные двери. И был тут не только снобизм, не только любопытство, но и несомненный расчет: эти недовольные, покинувшие свою родину люди искали поддержки у французов, и сочувствие им в конечном итоге должно было быть возмещено. Необъятная, богатая Россия, руководимая в будущем теми эмигрантами, на которых созывали гостей светские дамы, сулила также блестящие перспективы. Гастроли русских известных эмигрантов в парижских салонах были, впрочем, очень непродолжительны.

Русские художники скорее и легче других эмигрантов приобщались к французской культуре. Язык красок, линий скоро оказался у них общим.

Интерес к русским писателям, который никогда не был очень высок, перенесен был скоро на нахлынувших из Германии писателей. Им оказано было много, много внимания. Чествования, банкеты и переводы книг. Не в широком, впрочем, масштабе. Во Франции более широкую арену имели германские драматурги, нежели беллетристы, и еще меньше находили переводчиков поэты. Интерес к Томасу Манну подняло мировое его признание в виде Нобелевской премии. Как было и с Буниным. До получения Нобелевской премии французы знали из его произведений только «Господина из Сан-Франциско». Знали больше то, что писали о нем другие. И верили: хвалят, стало быть, есть за что. Большой французский писатель Андре Жид признавался, что он знает только одну эту повесть, что не мешало ему восхищаться Буниным, даже его плохим французским языком. Он понимал Бунина с полуслова и



даже без слов. К русским писателям возник во Франции интерес лишь в самое последнее время и лишь потому, что возрос интерес к России.

У германских, австрийских писателей, носителей известных имен, не могло быть тех материальных забот, какие выпали на долю и какие мешали работать и унижали русских эмигрантских писателей. У них — у Томаса Манна, у Генриха Манна, у Альфреда Керра, у Фейхтвангера, у Альфреда Деблина, у Франца Верфеля и нескольких других оказался «в изгнании» солидный резерв в лице крупных голландских издательств «Кверидо-Ферлаг» и «Аллерт де Ланге-Ферлаг» и двух-трех выходивших в Голландии немецких журналов. Если эти писатели и лишены были самой многочисленной родной аудитории, то все же положение их было неизмеримо лучше, чем положение русских писателей.

А там — понаехали во Францию испанцы. У каждого из испанских писателей, не принявших политического курса Франко, было уже в тридцатых годах больше читателей во Франции, чем у всех эмигрантских русских писателей вместе взятых. После английских писателей, давно имеющих во Франции большой круг читателей, наиболее популярные — это писатели испанские. Объясняется это, во-первых, общими границами — Восточные и Западные Пиренеи, — некоторым родством языков и, главное, той силой притяжения, какую всегда представляла Испания для писателей и туристов. Испанские писатели были в Париже «как дома». В любом французском издательстве, в любом французском периодическом издании, по духу им близким. Богатейшие в мире испанские газеты, выходившие в Буэнос-Айресе, в Рио-де-Жанейро, как «Пренса», «Национ», перебивали друг у друга сотрудничество испанцев-эмигрантов.

Они устраивались комфортабельно, снимали отличные квартиры, виллы, широко принимали — и никто из них не мог жаловаться на то, что «полюбно пахнет хлеб чужой».



Это была эмигрантская «знать» — и не было ей дела ни до русских эмигрантов, ни до русских писателей. И я не помню случая, когда бы со стороны какой-нибудь русской культурной группы была сделана попытка сближения с испанцами. В «Университетском городке» — Cité Universitaire, — раскинувшимся на самой близкой к столице окраине, на широкой территории этого поселка, состоящего из прелестных «домов наций», был у Испании свой дом, где в отличных условиях могли, как и в других такого рода домах, жить долгими месяцами и спокойно работать испанские писатели, ученые, художники... У русских писателей ни до, ни после революции своего такого «дома» в Париже не было.

Но вряд ли в других очутившихся вне родины эмигрантских группировках так быстро развилась приспособляемость к условиям чужеземной жизни и одновременно — взаимопомощь, как среди русских эмигрантов. Испанским писателям не было надобности, как и самым известным немецким писателям, устраивать вечера в свою пользу, которые были бесценным подспорьем в жизни русских писателей-эмигрантов. Какое это было каждый раз хлопотливое дело и какое горячее участие принимали в нем дамы-устроительницы... Съемка зала, распространение билетов. И я не помню такого вечера, который бы не проходил при переполненном зале. А в результате была возможность уплатить за квартиру, уплатить накопившиеся долги, приодеть себя, детей, у кого они были... Известные музыканты, певцы, драматические артисты охотно содействовали своим участием успеху таких вечеров. Только два русских писателя не «давали» таких вечеров в свою пользу: Алданов и Осоргин. Один раз выступил Шаяпин на таком вечере — это был последний из ежегодно устраивавшихся вечеров Дон-Аминадо. Шаяпин не пел, сказал только несколько слов о том, что видел на своем веку много фонтанов, но такого неиссякаемого фонтана остроумия, каким владел Дон-Аминадо, не видел нигде.



Не во фраке, не в былом своем великолепии, а просто в какой-то свободной куртке, и был не совсем здоров, и лицо его говорило об усталости, но голос звучал такой богатой, сочной полнотой, что было бы удивительно и странно, если бы его коротенькая речь не покрывалась оглушительными аплодисментами.

Раз в год, накануне Нового года по старому стилю — и это называлось «под русский Новый год» — устраивались большие концерты, завершавшиеся балом, с лотереей и великолепным буфетом. Эти вечера — звезды русского сезона — устраивались Союзом Русских Писателей и Журналистов, который почти до самой войны возглавлял Павел Николаевич Милюков. Под эти вечера снимались два этажа большого отеля «Лютетия». И русская эмиграция и талантами участвовавших артистов, и туалетами женщин представлена была великолепно... Эти ежегодные русские концерты-балы посещались иностранцами, гостившими в Париже, о них писали французские газеты. И в одной из них был забавный отчет, который не мог не использовать потом Дон-Аминадо. Репортер распространенной французской газеты, описывая великолепие бала, особое внимание уделил мундирам бывших царских генералов и адмиралов и красоте унизированных бриллиантами кошельков и расшитых серебром и жемчугом сарафанов на обольстительных обладательницах «ам слав». И самое пикантное в этом отчете было то, что ни одного мундира и ни одного кокошника этот наблюдательный репортер видеть не мог.

Были еще возникавшие, распадавшиеся, опять возрождавшиеся скромные организации, имевшие целью помощь писателям, ученым и художникам. Одна из них, работавшая усердно и жертвенно, возглавлялась женой Бунина, Верой Николаевной (урожденной Муромцевой), и женой профессора Эльяшевича. Ежемесячное пособие в несколько сотен франков, которое посылало «АМОР» — так на-



зывало себя это содружество, — тоже являлось в то время бесценным.

В «Последних Новостях» уже на третий-четвертый год существования газеты создана была с общего согласия сотрудников «Касса взаимопомощи». От каждой статьи или от жалования, получавшегося некоторыми сотрудниками, отчислялся какой-то, не помню точно, процент. Сотрудники могли брать из этой кассы отчислявшиеся от их гонораров небольшие суммы, пополнявшиеся в иных случаях авансами, и они бывали для нас спасительной поддержкой.

С разрешения администрации газеты, с сочувственного соизволения главного редактора возникла в стенах самой же редакции кантина для сотрудников, бессемейных или семьи которых жили за городом или в отдаленных от редакции кварталах. «Кантина», пожалуй, — неточное определение этой щеголеватой электрической плиты с тремя конфорками, с двумя духовками, приютившейся в крохотной комнате, когда-то служившей кухней прежним хозяевам этой квартиры. И по размерам она мало отвечала большой светлой квартире из восьми комнат на улице Тюрбиго, 51, где редакция «Последних Новостей» помещалась уже в 1931 г. Ведала кухней вдова милого талантливого поэта Потемкина, Любовь Дмитриевна Потемкина. Готовила превосходно, опрятно, аппетитно, и сотрудники получали из ее изящных рук завтрак за 10—15 франков, за который в самом скромном французском ресторане надо было платить 50—75 франков. Она же отпускала — и тоже за гроши — чай и кофе сотрудникам и очень обижалась, когда кто-либо из сотрудников не при деньгах отказывался брать у нее завтрак в долг. Впрочем, каким-то непогрешимым в известных взаимоотношениях чутьем товарищи обезденежавшего сотрудника приглашали его к своему покрытому клеенкой столику и оплачивали его завтрак. Никто из сотрудников «Последних Новостей» не уходил из редакции голодным.



Русская печать — ежедневная, периодическая — русские журналы, два-три русских издательства, русские книжные магазины были нашей гордостью, нашим не только материальным, но и моральным оплотом.

При всех политических, идеологических расхождениях это все же был некий монолит, о котором узнавали, знали французы. Они видели вывески на зданиях, где помещались редакции, конторы русских газет и журналов и книжных магазинов. Автоматически рос контингент русских наборщиков, и русские наборщики входили в синдикат французских наборщиков и подчинялись общему уставу.

И, наконец, русские были аккуратными налогоплательщиками. И едва ли не эта аккуратная налогоплательственность зачтена была русским как главная их добродетель. Уклонение от платежа налогов грозило, впрочем, такими неприятностями, такими осложнениями и без того сложного эмигрантского быта, что и малоимущие русские люди избегали нарушать закон.

Французы начинали считаться с нами. П. Н. Милоков уборщицу, приходившую каждый день убирать редакционные комнаты, встречал так же учтиво, как встречал именитого посетителя. Его примеру невольно следовали и сотрудники, что располагало к нам простых людей. И скоро пошла слава, хорошая слава о русских эмигрантах. Француженки — уборщицы, горничные, кухарки, прачки — предпочитали служить русским семьям, чем французским.

Будни наши, очередная работа, заботы о близких, о себе, о своем здоровье, об улучшении, украшении квартиры, комнаты, усилия осуществить мечту о поездке к морю, в горы, стремление получить по доступной цене билет на концерт какой-нибудь музыкальной знаменитости, жертвенные подчас усилия обзавестись хорошим радиоаппаратом — чтобы после трудового дня, не выходя из своей квартиры или из своей комнаты, послушать хорошую музыку, последние политические новости, и редко удававши-

еся старания попасть на послушную волну и поймать передачу из Москвы. Все это течение дня, смены дней и ночей, больших и маленьких радостей заслоняли перед нами, русскими эмигрантами, огромной важности и безмерно трудную для разрешения проблему: что мы, собственно, представляли собою во Франции, для Франции и для французов и как страна в целом, как французы, в частности, парижане, жители больших городов, относятся к нам и почему, в сущности, нас терпят. Ибо — как-никак — лишние рты.

Часть одного хотя бы парижского, скажем, 16-го квартала, вскоре после окончания войны заселившегося по закону взаимного притяжения русскими, может дать более или менее точное представление о русской в Париже эмиграции первых ее годов.

Большой отель на бульваре Экзельманс — второй дом от набережной Сены. Он состоит из больших и небольших комнат, к большинству из них примыкает уборная с умывальником, к нескольким — ванная комната с крохотной газовой печуркой. В отеле этом так много русских, осевших прочно, к скромной отельной обстановке прибавивших кое-какие свои вещи — свои одеяла, самовар, иконы, семейные или групповые, полковые или школьные, институтские фотографии, свои, из России вывезенные, чайники, коврики и запахи, запахи, неповторимые и мыслимые лишь в русских тесных квартирах — не бедных, но и не имущих людей, — что в этой массе обитателей совершенно не заметны и не слышны были часто, впрочем, менявшиеся французские, большей частью из провинции, наезжавшие постояльцы.

В этом отеле жил бывший предводитель киевского дворянства Сергей Сергеевич Уваров с красавицей женой, гречанкой по происхождению; двое детей их, юноша и девочка-подросток, жили не с ними, а в одном детском приюте со школой недалеко от Парижа. Этажом ниже — баронесса Нольде, в недавнем еще прошлом богатая ви-

тебская помещица, с дочерью. Известный балетный критик А. А. Плещеев, драматическая актриса Е. Н. Рошина-Инсарова, вдова известного в свое время в Петербурге банкира Чаманская, еще одна семья Плещеевых, чета пензенских помещиков — муж и жена Панютины, сотрудница «Последних Новостей» (А. Даманская), сотрудник газеты «Возрождение» А. А. Гефтер, русская дантистка — без зубокабинета, русский бывший военный врач — без права практики в чужой стране, еще трое бывших военных, носивших сильно подержанные военного покроя куртки-пальто без погонов и без металлических пуговиц. При встрече на лестнице друг другу отдавали честь по-военному. Русский художник, еще одна русская артистка, обладательница отличного голоса и больших легких...

В прошлом — один из самых богатых землевладельцев Киевской губернии и обладатель великолепного дома-дворца на Бибиловском бульваре, долголетний предводитель киевского дворянства, хлебосол, статный, красивый — Сергей Сергеевич Уваров, выброшенный за борт русской жизни, сумел сохранить только неотъемлемое: исключительное музыкальное дарование. Абсолютный слух, исключительную музыкальную память. Почему он не стал виртуозом, почему не завоевал широкой известности — можно было объяснить отчасти ленью, отчасти нерадивостью воспитывавших его людей к его дарованию и, вероятнее всего, тем, что служба в одном из самых аристократических гвардейских полков и связанная с этой службой веселая столичная жизнь, кутежи, балы, придворные па-рады были заманчивее учебы и упорного культивирования данного ему природой дара. На какие средства он жил в те эмигрантские годы, когда я познакомилась с ним? А было это не то в 1925, не то в 1926 году. Если это можно было называть жизнью: неряшливая, чтобы не сказать грязная, комната, поношенная одежда, заработок жены, служившей продавщицей в модном магазине на Елисейских Полях



и на супружескую верность давно махнувшей рукою как на совершенно ненадобную в условиях эмигрантской жизни добродетель. Он часами играл, и все на память, на расстроенном пианино в маленькой, плохо освещенной гостиной отеля, играл превосходно, восхищал слушателей, и по лицу его видно было, что музыка для него — опиум, гашиш, источник забвения и часто способ утоления голода. Питался он плохо — жена целыми днями отсутствовала, по вечерам в гости уходила. Он не гнушался получать от других знакомых жильцов того же отеля остатки от их завтраков и обедов. Иногда его приглашали в качестве танцора в какой-нибудь знатный французский дом, где хозяева кем-то осведомлены были о его происхождении, о его прошлом. За такой вечер он получал 300 франков, из которых на следующий же день уплачивал самые неприятные долги — в табачную лавку, гарсону отеля, какому-нибудь настойчивому и недоверчивому кредитору. То ли он скрывал, что кое-что и читал, кое-что интересное на своем веку перевидал, то ли все позабыл, но разговорчив он не был и производил впечатление человека не очень умного, вернее, ограниченного. Но садился за пианино, клал на клавиатуру свои породистые руки, и лицо его преображалось... Одухотворялось, утончалось, и становилось жалко его до слез.

Мне приходилось иногда заходить в их комнату. Но дальше порога входить не решалась: отпугивала грязь, беспорядок и душный воздух редко, верно, проветривавшейся комнаты.

Я уезжала куда-то на несколько недель. Когда вернулась, мне сообщили: а нашего пианиста нет. Умер ночью, во сне. И жена его из отеля этого переехала в другой. Долго вдоветь, долго скорбеть ей поклонники ее не дали. Да и некогда было предаваться унынию: дети подрастали, дочь развивалась в стройную, не такую красивую, как мать, но все же очень привлекательную девушку. И надо было их



устраивать. Как она их устроила — не знаю. Встречать ее больше не приходилось.

Баронесса Нольде — очень общительная, характера легкого, веселого — была одной из многих баронесс, графинь, княгинь, разрисовывавших тарелочки, косынки, скатерки, и была одной из немногих, находивших сбыт своим тарелочкам и косынкам. Беспорядок в ее комнате, которую она называла «ателье», стоял фантастический: чайные ложечки в мисочках с красками, пальцы перчаток купались в тех же мисочках, потом подвергались мытью и перекрашиванию... На краях тарелок с застывавшей снедью атели, желтели, голубели, лиловели пятна красок, и так как окно ее комнаты выходило на крышу, то приходилось ей постоянно воевать с залезавшими к ней котами, доедавшими ее убогие завтраки, вылизывавшими остатки манной каши на тарелке, лакавшими молоко из ею же разрисованной фарфоровой чашки... Спала она на узком диване, а за ширмой — ее дочь, высокая некрасивая, худощавая, плоскогрудая девушка, но всегда аккуратно и даже элегантно одетая, даже чересчур элегантная, молчаливая и надменная. Она, благодаря давним связям матери и давно умершего отца, барона Нольде, получила представительство большого парижского дома, специальностью которого было тончайшее и очень дорогое белье. Настойчивая, неутомимая в ходьбе, она завоевала и клиенток в богатых светских домах, куда ее приглашали, а мать не приглашали. К удивлению хозяев и обитателей этого отеля, она выходила из своей неопрятной комнаты, когда отправлялась на званый вечер, в отличном вечернем платье — с чужого плеча, но умело приспособленном к ее фигуре, с глубоким декольте, с обнаженной чуть не до талии спиной... И так как она воспитывалась в Петербурге в аристократическом институте и отлично говорила по-французски, по-английски, то на одном таком званом вечере встретила богатого американца, которого сумела очаровать своими светскими манерами, своим титулом и тем, что хорошо рассказывала

о великолепных царских и великокняжеских балах, на которых никогда не бывала... Американец был женат. В ожидании развода — получить его от жены-американки было мало шансов — уговорил пленившую его баронессу поехать с ним во Флоренцию, где у него была небольшая вилла. Поехали, и мать с собою прихватили, и американец окружил их заботами и комфортом. Но организм немолодой уже девушки, истощенный годами непосильного труда и недоеданием, не вынес обрушившихся на нее благ. Давно гнездившиеся в ней туберкулезные микробы пышно развились в Италии и полтора года спустя свели ее в могилу. Был слух, что американец кое-чем — не очень щедро — возместил матери ее переезд из Парижа в Италию и несбывшиеся надежды на спокойную старость. На дорожной памятник своей кратковременной возлюбленной, однако, не поспешил.

Драматическая актриса Е. Рощина-Инсарова, обительница того же отеля на бульваре Экзельманс, в свое время, до Первой мировой войны, с успехом игравшая в петербургском Малом театре Суворина, в Москве — в театре Корша — и в крупных провинциальных центрах, в Париже оказалась «не у дел».

В труппе, уже в начале двадцатых годов возникшей в Париже, ей места не оказалось. Вероятнее всего, потому, что во главе этой скоро спевшейся труппы стояли артисты Московского Художественного театра М. Н. Германова, Г. М. Хмара и неожиданно расцвели, засверкали молодые дарования — Е. Н. Кедрова, Евгения Скокан, и с ними у Е. Рощиной, актрисой старой реалистической школы, не оказалось общего языка.

Рощина-Инсарова не растерялась. Стала давать уроки декламации и выразительного чтения. У нее был сын, вывезенная из России старая няня. На заработок от уроков жить нельзя было. Давний ее друг, близкий ей человек А. А. Плещеев, в России много содействовавший ее артистической карьере, в годы эмиграционные поддержкой

быть ей не мог. К тому же он стал слепнуть и сам нуждался в заботах о себе.

Богатый эмигрант Б. Гордон, субсидировавший «Иллюстрированную Россию», внепартийный художественно-литературный еженедельник, покупавший не нужные ему картины художников, которым нужны были его деньги, Гордон этот выручил и Рощину-Инсарову: предоставил ей пользоваться его квартирой в вечерние часы для «Salon de bridge». В Париже неблагозвучному русскому определению «игорный дом», или еще хуже «игорный притон», нашлось облагораживающее его наименование «Salon de bridge». Это занятие кормило. После смерти Плещеева, скончавшегося на улице, на скамейке, на которую присел отдохнуть, от разрыва сердца, после отъезда Б. Гордона в Америку Рощина с подросшим сыном, который себя прокормить не мог, пробивалась кое-как, благодаря имущим друзьям из эмигрантов, благодаря благотворительным русским организациям. С 1951 года она живет в «Доме Земгора», в так называемом «Доме для престарелых» в близком от Парижа городке-деревне Кормей ан-Паризи.

Этажом выше Рощиной, в том же отеле на бульваре Экзельманс жил бывший крупный пензенский помещик Панютин, как и Уваров, несколько лет подряд избиравшийся в предводители дворянства. Панютин — из рачительного и, как мне рассказывали, умелого сельского хозяина — в эмиграции открыл в себе новое дарование: оказался неплохим актером-комиком и мимистом, упорно ходил из одной кинематографической студии в другую, из конторы одного более или менее известного синеаста в другую... И добивался — с переменным, правда, успехом — того, что искал. Статистом в одном, другом, третьем фильме, изредка, где не требовалось правильное французское произношение, маленькая комическая роль. Жена, хорошенькая женщина, страстно и запальчиво осуждавшая всех виновников, всех политических деятелей, из-за которых пришлось ей бежать за границу, быст-



ро выучила в одном парижском «Институте красоты» (Institut de beauté) эстетический массаж, маникюрное искусство, успешно искала, находила клиенток, ходила из дома в дом с ящичком или с маленьким чемоданчиком, наполненными щеточками, пилочками, кремами, красками... и ничего, жили, не голодали, не тужили и уверенно ждали: скоро, скоро большевистская власть будет свергнута, и все будет, как было... Панютин, бедняга, не дождался. Был разорван германской бомбой, бомбой тех самых немцев, от которых он ждал освобождения России от большевиков. <...>

Два бывших офицера — эти в одной комнате жили. Полковые товарищи. Оба симпатичной наружности, всегда оживленные, оба ладно скроенные. Хозяева отеля к ним благоволили — за учтивость, опрятность и за то, что по-французски почти без акцента говорили. Платили за комнату неаккуратно, но их не притесняли. Верили их заверениям — подработают, заплатят. На чем и каким способом заработают, их из деликатности не спрашивали, а они в свои упования никого не посвящали. Но доверие хозяев не обманули. Оба стали выступать в «Прадо» — много посещаемом кафе-баре на Елисейских Полях — в оркестре балалаечников. И кассирша отеля, которой они раз дали даровой билет на их выступление, захлебываясь от восторга, рассказывала: «Нет, если бы вы видели, как они шикарны — в бархатных шароварах, в ярко-желтых косоворотках — и так хорошо, так весело. Так замечательно играют — я даже и не узнала их».

Обладательница в прошлом отличного сопрано — в настоящее время обладательница больных легких — после нескольких лет бедования и недоедания нашла место кассирши в одном французском ресторане, где платили ей плохо, а кормили хорошо, и где она, несмотря на хорошее питание, худела и медленно угасала.

Еще два бывших офицера: один — бывший мелкопоместный помещик, другой — на военной службе специа-



лизовавшийся в починке мотоциклеток и автомобилей. Первый скоро приобрел среди русских же эмигрантов все разрастающуюся клиентуру, которой поставлял два раза в неделю отменно свежие доброкачественные молочные продукты, за которыми мчался в парижские предместья и дальше, в Нормандию... Другой, товарищ — одну комнату вдвоем занимали — пристроился шофером. Этому и вовсе повезло, стал шибко зарабатывать, женился на французенке, но неудачно женился, запил, спился и при мне кончил свой век в больнице.

Две хорошеньких девушки, внучки очень степенного и несколько надменного вида адмиральши, то есть вдовы одного погибшего в морском бою адмирала, к умилению и отчасти завистливому удивлению других русских обитателей отеля, проявили не по летам энергию, настойчивость и нашли то, чего искали. То, что сулило им кров, независимость и возможность удовлетворять скромные потребности воспитавшей их в богатстве, в роскоши старой адмиральши. Одна принята была манекенщицей в большой модный дом, другая — помощницей к получившему право практики русскому дантисту-еврею. Дантист этот был холост, недурен собою, молод, учтив — и опасения адмиральши насчет возможности сближения между ним и ее внучкой, носительницей известного в России стародворянского имени, опасения эти не могли не сбыться. Дантист часто провожал свою миловидную помощницу домой и в подъезде долго прощался с нею. Так долго, что эпилог этих длительных прощаний был неизбежен. В конце концов и женился на ней, и внучка знатной адмиральши стала носить еврейскую фамилию.

А в отходивших от бульвара Экзельманс тихих, опрятных улицах и подальше, ближе к Булонскому лесу, жили русские эмигранты другой социальной породы. Не расовой, не духовной — именно социальной. Это были уже верхи русской эмиграции: дельцы, ломавшие большие прибыльные дела, синеасты, быстро в Париже завоевав-



шие известность талантов, находчивостью и умением привлекать нужных и даровитых сотрудников. И такие синеасты, как Кампанеец, Венгеров, без домогательства признания, без больших даже усилий приобщая свои имена к всепризнанным именам французских синеастов, все же в своей самостоятельной работе, к своим самостоятельным постановкам старались привлекать возможно больше русских сотрудников. Русских художников, русских гримеров и гримерш, русских костюмерш, русских статистов и статисток. Богатевшие, преуспевавшие русские обитатели хороших квартир и даже особняков давали работу, заработок русским обитателям дешевых, скромных отелей, которые в недалеком и постепенно тускневшем в памяти прошлом жили в таких же нарядных, если не наряднее, квартирах и особняках.

Но слияния в один эмигрантский блок, единения между «верхами» и «низами» эмиграции не было, не могло быть. Ибо одни — искренне или самообманно — ни над какими превратностями судьбы не задумывавшиеся, брали от жизни в настоящем то, что она давала, и одни проявляли к другим, к людям, обойденным судьбою, к неудачникам, либо полное равнодушие, или подлинное или не совсем искреннее сочувствие. Не вымышленным, а подлинным, из живой жизни вырезанным, как из большой картины чем-то заинтересовавшая нас деталь, живым примером много раз повторявшихся скачков удач и неудач, думается, лучше всего иллюстрируется взаимоотношение разных групп русской эмиграции.

Дни, когда в константинопольском ресторане «Мыс Доброй Надежды» богатые левантийцы, голландские скотоводы, американские магнаты платили сумасшедшие деньги за столики, за которыми подавали русские княгини, графини, вдовы павших на войне русских генералов, адмиралов — подлинные и самозванные, — дни этой фантастической новизны и быстрых, угарных смен давно уже



выдыхались в ларце воспоминаний, ну, скажем, Анны Павловны Игрек.

После Константинополя была Прага, уроки музыки, болезни детей, смерть одного из них, краткосрочный роман, давший радости мало, обиды много, охлаждение к ее урокам, новые знакомства, отчего-то не укреплявшиеся, размолвки со старыми знакомыми и опять примирения, объяснения, слезы, медленно, глухо, но успешно вытравлявшие из души все, что было ее благоуханием: отходчивость, незлобивость, нежность. А там Париж.

«Ну, разве можно сравнить», — писала она в Прагу, потому что обещала писать, таким облегчением было сердцу писать о том, чего не было. О том, что нашла место экономки у одного богатого промышленника, что под ее начальством кухарка, две горничных, и промышленник этот и его жена, люди очень культурные, очень деликатные, отвели ей одну из лучших комнат в своей огромной квартире, и вне тех немногих часов, какие она отдает хозяйству, она пользуется полной свободой. Писала еще, что, дорожа этим местом, она охотно выполняет единственное поставленное ей условие: не принимать у себя никого из своих родных и знакомых. Потому она и адреса своего никому не дает и даже к дочери своей за город ездит — «отличный пансион, где только дети из хороших семейств», — а к себе ее никогда не привозит.

Дописав такое письмо, Анна Павловна быстро запечатывала конверт и так же быстро наклеивала марку. Марка была залогом того, что не поддастся искушению вскрыть конверт, разорвать и написать другое письмо, правдивое, искреннее. О плохонькой комнате, о жесткой узкой кровати, о том, что несколько раз уже напоминала, что хотя бы матрац ей помягче и коврик какой-нибудь на каменный пол мансардной ее комнаты — и так ноги болят, и каждый раз хозяйка ее хмурится, говорит о «плохих временах», обещает что-нибудь придумать и заказывает обеды, завтраки, закуски, вина, птицу всякую, все дорогое и всего



много... А чуть-чуть бы поменьше, чуть-чуть подешевле, и хватало бы и на матрац, и на коврик. Но об этом и о своей острой, жгучей ненависти к этим, ну, скажем, Зетам, которых она ненавидела за то, что служила им, а не они ей, она не писала, не говорила никому. Даже дочке своей Мусе, учившейся не в «отличном пансионе вместе с детьми из хороших семейств», а в скромном приюте для русских девочек, где она скучала, бледнела и при каждом свидании с матерью грозила ей самоубийством.

Принимали однажды важного нужного гостя, русского тоже, из Лондона. Анна Павловна в этот день превзошла себя. Гость восхищался пирожками и соусом, а, вкусив ложечку орехового парфе, и вовсе в восторг пришел. И едва Анна Павловна закрыла за собою дверь столовой, до нее донеслось: «Это она, княгиня наша... Искусница такая...» — И она не удержалась: осталась за дверью дослушивать и услышала: ее хозяева Зеты, перебивая друг друга, осведомляли гостя: «Да-а... превратности судьбы... Когда-то ее повара, ее дом известны были всей Москве».

Чем разряжалась горечь обиды, на чем отдыхала уязвленная судьбою душа такой Анны Павловны Игрек? Мечты о чуде, о возмездии, чаяния чуда, возможности мести. Чудо, вернее, первая половина чаемого чуда, свершилось раньше, чем ожидала его Анна Павловна Игрек в самых жарких своих мольбах о его свершении: Зеты разорились, и г-жа Зет перестала заказывать г-же Игрек дорогие обеды.

В то утро, когда г-жа Зет с заплаканными глазами говорила своей кухарке о миллионной концессии, какую получил ее супруг в Голландии, и что она пришлет ей жалованье за последних полтора месяца, лишь только они приедут в Амстердам, Анна Павловна знала уже твердо, что никаких миллионов Зеты не получают и недоплаченное жалованье не пришлют они из Амстердама, куда вовсе и не собирались, и не предчувствовало только ее сердце, очень огорченное потерей места, близости другого чуда.



В тот же день девочка ее Муся, посланная за какими-то покупками, попала под автомобиль, из-под которого вытащили ее окровавленной и без сознания. Это было действительно чудесное и чреватое неожиданными чудесами событие: раны оказались легкими, и собственник автомобиля, богатый бельгиец, которому почему-то важно было скрыть, зачем он очутился в этом пригороде и в тот день на этой дороге, сам вызвался поговорить с матерью раненой девочки и без возражений дал ей чек на большую сумму денег.

А полтора года спустя Анна Павловна Игрек остановилась перед витриной новооткрывшегося русского гастрономического магазина. Маленький был это магазин, вернее, даже лавочка, но за окном лежали такие аппетитные булочки, бублики, маковки, какие любила Муся. Она вошла.

— Дайте мне, пожалуйста... — и осеклась: перед нею с замусоленной записной книжкой в руках стояла г-жа Зет.

Не та, которой она приносила в спальню кофе и поджаренные ломтики белого хлеба, не та, которой она служила добросовестно и которую ненавидела, а другая — обрюзгшая, подурневшая, с неугаимой печальной заботой в глазах, но эта была она — мадам Зет.

— Анна Павловна... Неужели вы... Но как вы изменились... вот уж... Разбогатели...

И Анна Павловна ответила скромно, и голос ее звучал правдиво.

— Мы получили наследство... Из Прикарпатской Руси — от брата моего покойного мужа.

— А... — в горле г-жи Зет будто хрустнуло, треснуло что-то. Она отпустила ей бубликов, холодными пальцами дала сдачу и обратилась к новым покупателям. Две барышни, господин с мальчиком. — Пирожков, с мясом, с грибами... Еще тепленькие. А вам, миленький, тянущек, да?



Барышни смотрели вслед Анне Павловне Игрек. Ладная фигура, отлично сшитое платье.

И г-жа Зет, уловив их взгляд, зашептала: «Моя бывшая кухарка. Мои ботинки донашивала. Чаевые от гостей наших получала. Миллионное будто бы наследство получила... Какие-то замки чешские... Вам сухариков? Сама, сама пекла... Но что вы на это скажете. В кухарках два года у меня жила...»

Этот близко мною наблюдавшийся случай, во все перипетии которого я была посвящена, с теми же вариантами, с участием тех или иных действующих лиц повторялся в эмигрантском быту несчетно много раз... «Первые» оказывались последними, а «последние», спустя год, два, три унижений и обид, оборачивались «первыми». И эти, и другие представляли собой значительную часть эмигрантской массы. С годами, по мере того как росли дети, учившиеся во французских школах, дети эти в большинстве своем приобщались интересам французской молодежи, интересам, которым чужды были их родители.

Вспоминаю такой случай. Заряженная какой-то большой «русской» политической новостью, я поехала, взвинченная этой новостью, к Анне Ильиничне Андреевой, вдове Леонида Андреева. Меня удивила царившая в доме тишина. На мой стук в дверь ответа не последовало. Я открыла дверь в прихожую, другую дверь и растерянно остановилась на пороге. Комната была полна молодых людей, молодых девушек, подростков. Все молчали и сосредоточенно, благоговейно — как слушают верующие молитву или проповедь — слушали голос спикера, сообщавшего детали разыгрывавшегося в это время теннисного матча на стадионе в Отей.

На меня замахали руками, зашикали. Не спрашивать, не говорить, не мешать. Между несколькими командами шла борьба за кубок Дейвиса. Ни А. И. Андреевой, ни мне не были знакомы имена теннисистов, о которых орало радио. Ее детям, товарищам, подругам ее детей они были



знакомы. Им самим и досуга не было для тренировки, и не у всех была эта возможность обзаводиться хорошими ракетками, и доступ в спортивные команды немногим тоже был открыт, ибо не всем была доступна сумма членских взносов. Но с каким торжественным вниманием слушали они спикера и с каким ликованием подхватили сообщение о том, что кубок Дейвиса остался в этом году за Францией.

А год этот был насыщенный важными событиями, важными для отцов, для старших братьев, для наставников, для духовных, политических представителей русской эмиграции, так сокрушавшихся о материальных недостатках в быту русского юношества, так много чаяний на него возлагавших и ничего, ничего ровно не знавших о кубке Дейвиса. Постепенно обозначалась, ширилась между поколениями — межа...